

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА *Р* БОЛЬШИЕ КНИГИ

Юз
Алешковский



ПЕРЕИЗБРАННОЕ

« А З Б У К А »



18+

Юз Алешковский
Переизбранное
Серия «Русская литература.
Большие книги»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67852932

*Переизбранное:
ISBN 978-5-389-21734-8*

Аннотация

Юз Алешковский (1929–2022) – русский писатель и поэт, автор популярных «лагерных» песен, которые не исполнялись на советской эстраде, тем не менее обрели известность в народе, их горячо любили и пели, даже не зная имени автора. Перу Алешковского принадлежат также такие произведения, как «Николай Николаевич», «Кенгуру», «Маскировка» и др., которые тоже снискали народную любовь, хотя на родине писателя большая часть их была издана лишь годы спустя после создания. По словам Иосифа Бродского, в лице Алешковского мы имеем дело с уникальным типом писателя «как инструмента языка», в русской литературе таких примеров немного: Николай Гоголь, Андрей Платонов, Михаил Зощенко... «Сентиментальная насыщенность доведена в нем до пределов издевательских, вымысел – до фантазмагорических», писал Бродский, это «подлинный орфик: поэт, полностью подчинивший себя языку

и получивший от его щедрот в награду дар откровения и гомерического хохота».

Содержание

Автобиографическая справка	7
Николай Николаевич	14
1	14
2	17
3	22
4	24
5	29
6	31
7	37
8	46
9	51
10	57
11	60
12	66
13	73
14	78
15	86
Кенгуру	100
1	100
2	115
3	128
4	140
5	172

6	199
7	215
8	231
9	249
10	273
11	314
12	328
Конец ознакомительного фрагмента.	331

Юз Алешковский

Переизбранное

© Юз Алешковский (наследники), 2022

© А. И. Алешковский, статья, 2022

© О. А. Седакова, статья, 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

Автобиографическая справка

*И с отвращением читая жизнь мою,
я трепещу и проклиная,
и горько жалеюся, и горько слезы лью,
но строк печальных не смываю.*

Если бы величайший из Учителей, Александр Сергеевич Пушкин, не научил меня эдак вот мужествовать при взгляде на жизнь прошедшую, то я ни в коем случае не отважился бы самолично знакомить Читателя с небюрократизированным вариантом своей автобиографии.

Откровенно говоря, жизнь свою я считаю, в общем-то, успешной. Но для начала вспомним, что успех – от глагола «успеть».

Начнем с того, что успех сопровождал меня буквально с момента зачатия родителями именно меня, а не другой какой-нибудь личности в Москве, суровой зимой 1929 года. Слава Богу, что я успел родиться в Сибири, в сентябре того же года, потому что это был год ужасного, уродливого Перелома и мало ли что тогда могло произойти.

Затем я успел возвратиться в Москву и познакомиться с уличным матом гораздо раньше, к сожалению, чем со сказками братьев Гримм. Потом я оказался в больнице с баш-

кой, пробитой здоровенным куском асфальта, что навсегда нарушило в ней способность мыслить формально-логически и убило дар своевременного почитания здравого смысла.

Потом я пошел в детсад, но исключен был из него вместе с одной девочкой за совершенно невинное и естественное изучение анатомии наших маленьких тел. Так что в школу я попал человеком слегка травмированным варварски бездушной моралью тоталитарного общества.

Прогуливая однажды, я свалился в глубокий подвал, повредил позвоночник, но выжил. Врачи и родители опасались, что я останусь лилипутом на всю жизнь, хотя сам я уже начал готовиться к карьере малюсенького циркового клоуна.

К большому моему разочарованию, я не только продолжал расти, но превратился в оккупанта Латвии вместе с войсковой частью отца; успешно тонул в зимних водах Западной Двины; потом успел свалить обратно в Москву и летом сорок первого снова махнуть в Сибирь, в эвакуацию.

Вообще, многие наиважнейшие события моей жизни произошли за Уральским хребтом. Так что я имею больше конкретных прав называться евразийцем, чем некоторые нынешние российские политики, стоящие одной ногой в Госдуме, другой в Индийском океане.

Во время войны, в Омске, я успел влюбиться в одноклассницу буквально за месяц до зверского указа Сталина о раздельном обучении двух полов. По другим предметам я в школе драматически не успевал. Это не помешало мне

успеть не только схватить от любви и коварства, от курения самосада и голодухи чахотку, не только выздороветь, но и возвратиться в Москву здоровенным верзилой – победителем палочек Коха, умеющим стряпать супы, колоть дрова, растить картошку, а также тайно ненавидеть вождя, с такой непонятной жестокостью прервавшего романтические общения мальчиков с девочками в советской школе.

Я был весельчаком, бездельником, лентяем, картежником, жуликом, хулиганом, негодяем, курильщиком, беспризорником, велосипедистом, футболистом, чревоугодником, хотя всегда помогал матери по дому, восторженно интересовался тайной деторождения и отношения полов, устройством Вселенной, происхождением видов растений и животных и природой социальных несправедливостей, а также успевал читать великие сочинения Пушкина, Дюма, Жюль Верна и Майн Рида. Может быть, именно поэтому я ни разу в жизни своей никого не продал и не предал. Хотя энное количество разных мелких пакостей и грешков успел, конечно, совершить.

Я проработал с полгода на заводе, но школу кончить и вуз так и не успел, о чем несколько не печалюсь. Вскоре произошло событие не менее, может быть, важное, чем победа именно моего живчика в зимнем марафоне 1929 года, года великого и страшного Перелома. Я без ума втрескался в соседку по парте в школе рабочей молодежи. Любовь эта напоминала каждую мою контрольную по химии: она была со-

вершенно безответна. Дело не в этом.

К счастью, общая химия Бытия такова, что я с тоски и горя начал тискать стишки, то есть я изменил соседке по парте, Ниночке, и воспылал страстной любовью к Музе, которая впоследствии не раз отвечала мне взаимностью. Вообще, это было счастьем успеть почувствовать, что любовное мое и преданное служение Музе – пожизненно, но что все остальное – карьера, бабки, положение в обществе, благоволение властей и прочие дела такого рода – зола.

Потом меня призвали служить на флот. Переехав очередной раз Уральский хребет, я совершил ничтожное, поверьте, уголовное преступление и успел попасть в лагерь до начала корейской войны. Слава Богу, я успел дожить до дня, когда Сталин врезал дуба, а то я обогнал бы его с нажитой в неволе язвой желудка.

Вскоре маршал Ворошилов, испугавшись народного гнева, объявил амнистию. Чего я только не успел сделать после освобождения! Исполнилась мечта всей моей жизни: я стал шофером аварийки в тресте «Мосводопровод» и навечно залечил язву «Московской особой».

Начал печатать сначала отвратительные стишки, потом сносные рассказы для детей. Сочинял песенки, не ведая, что пара из них будет распеваться людьми с очистительным смехом и грустью сердечной.

Вовремя успел понять, что главное – быть писателем свободным, а не печатаемым, и поэтому счастлив был попол-

нять ящик сочинениями, теперь вот, слава Богу и издателям, предлагаемыми вниманию Читателя.

Ну, какие еще успехи подстерегали меня на жизненном пути? В соавторстве с первой женой я произвел на свет сына Алексея, безрассудно унаследовавшего скромную часть не самых скверных моих пороков, но имеющего ряд таких достоинств, которых мне уже не занять.

Я уж полагал, что никогда на мой закат печальный не блеснет любовь улыбкою прощальной, как вдруг, двадцать лет назад, на Небесах заключен был мой счастливый, любовный брак с прекраснейшей, как мне кажется, из женщин, с Ирой.

Крепко держась друг за друга, мы успели выбраться из болотного застоя на берега Свободы, не то меня наверняка захомутали бы за сочинение антисоветских произведений. Мы свалили, не то я не пережил бы разлуки с Ирой, с Музой, с милой волей или просто спился бы в сардельку, заключенную в пластиковую оболочку.

В Америке я успел написать восемь книг за шестнадцать лет. Тогда как за первые тридцать три года жизни сочинил всего-навсего одну тоненькую книжку для детей. Чем не успех?

Разумеется, я считаю личным своим невероятным успехом то, что сообщая со всем миром дождались мы все-таки часа полыхания гнусной Системы, ухитрившейся, к несчастью, оставить российскому обществу такое гниlostное наследство и такое количество своих тухлых генов, что она

долго еще будет казаться людям, лишенным инстинктов свободы и достойной жизнедеятельности, образцом социального счастья да мерою благонравия.

Так что же еще? В Америке, во Флориде, я успел, не без помощи Иры и личного моего ангела-хранителя, спасти собственную жизнь. Для этого мне нужно было сначала схватить вдруг инфаркт, потом сесть за руль, добросить себя до госпиталя и успеть сказать хирургам, что я согласен рискнуть на стопроцентную успешную операцию на открытом сердце.

Всего-то делов, но я действительно успел в тот раз вытащить обе ноги с Того Света, что, ей-богу, было еще удивительней, чем миг моего зачатия, поскольку...

Честно говоря, если бы я имел в 1929-м какую-нибудь информацию об условиях жизни на Земле и если бы от меня лично зависело, быть или не быть, то... не знаю, какое принял бы я решение. Впрочем, несмотря на справки об ужасах земного существования, о войнах, геноцидах, мерзостях Сталина и Гитлера, диком бреде советской утопии, террариумах коммуналок и т. д. и т. п., все равно я успел бы завопить: БЫ-Ы-Ы-ЫТЬ! – чтобы меня не обогнала какая-нибудь более жизнелюбивая личность. Возможно, это была бы спокойная, умная, дисциплинированная, прилежная, талантливая, честнейшая девочка, меццо-сопрано или арфистка, о которой мечтали бедные мои родители.

Одним словом, сегодня, как всегда, сердечно славословя Бога и Случай за едва ли повторимое счастье существова-

ния, я горько жалуюсь и горько слезы лью, но, как бы то ни было, строк печальных не смываю; жену, детей, друзей и Пушкина люблю, а перед Свободой благоговею.

Понимаю, что многого не успел совершить, в том числе и помереть. Не знаю, как насчет остального, например хорошей натаски в латыни, греческом и английском, а врезать в свой час дуба я всегда успею.

Поверь, Читатель, в чем в чем, а в таком неизбежном деле ни у кого из нас не должно быть непристойной и истерической спешки.

Юз Алешковский

Николай Николаевич

Светлое путешествие в мрачном гадюшнике советской биологии

*Ирине, Ольге и Андрею – на память о комарах,
свежей треске и землянике Рижского взморья*

1

Вот послушай. Я уж знаю: скучно не будет. А заскучаешь, значит полный ты мудила и ни хуя не петришь в биологии молекулярной, а заодно и в истории моей жизни. Вот я перед тобой мужик-красюк, приборакхлен, усами сладко пошевеливаю, «москвич» у меня хоть и старый, но бегаёт, квартира, заметь, не кооперативная, и жена – скоро кандидат наук. Жена, надо сказать, – загадка! Высшей неразгаданности и тайны глубин. Этот самый сфинкс, который у арабов – я короткометражку видел – говно по сравнению с ней. В нем и раскалывать-то нечего, если разобраться. Ну, о жене речь впереди. Ты помногу не наливай, половинь. Так забирает интеллигентней и фары не разбегаются. И закусывай, а то окосеешь и не поймешь ни хуя. Короче говоря, после войны освободился я девятнадцати лет. Тетка меня в Москве прописа-

ла: ее начальник паспортного стола ебал прямо на полу в кабинете. И месяц я нигде не работал. Не хотел. Куропчил¹ потихоньку на садке², причем без партнеров, и даже пропаль пульнуть³ некому. Искусство. Видишь пальцы? Ебаться надо Ойстраху. Мои длинней. И, между нами, чуял я этими пальцами, что за купюры в лопатниках или просто в карманах. Цвет ихний пальчиками брал и ни разу не ошибся. А сколько таких парчушек, которые за рупь горят или за справку из домоуправления, которую они, фраера, тянут, как банкнот в миллион долларов, столько сил тратят, на цыпочках балансируют, вытягивают, а их – за жопу и в конверт. У нас не считается, сколько спиздил, главное – не воровать. Ну ладно, куропчу я себе помаленьку. Маршрут «Б» освоил и трамвая «Аннушка». Карточки, заметь, не брал. А если попадались, я их по почте отсылал или в стол находок перепуливал. Был при деньге. Жениться собирался. Вдруг тетка говорит:

– Сосед тебя в институт к себе берет. Лаборантом будешь. Все одно погоришь. Скоро срока увеличат. Мой сказывал, а у него брат на Лубянке шпионов ловит и все знает прямо от Бери.

И правда, указ вышел. От пяти до четвертака. Я перебдел. Везло мне что-то очень долго. И специальность получить хотелось, но работать я не любил. Не могу – и все. Хоть

¹ Воровал.

² Толкучка при входе, например, в вагоны.

³ Передача бумажника, кошелька и т. п. напарнику.

убей. Отучили нас в лагерях работать. Пришлось идти в институт к соседу все ж таки, потому что примета такая: если перебздел – скоро погоришь.

С соседом этим мы по утрам здоровались. Он в сортире подолгу сидел, газетой шуршал и смеялся. Воду спустит и хохочет. Ученые, они все авоськой стебанутые. По-моему, он тоже тетку ебал, и, в общем, устроился я в его лабораторию. По фамилии он был Кимза, нацию не поймешь, но не еврей и не русский. Красивый, но какой-то усталый, лет под тридцать.

– Будешь, – говорит, – реактивы носить, опыты помогать ставить. Захочешь – учиться пойдешь. Как?

– Нам, – говорю, – татарам одна хуй. Что ебать подтаскивать, что ебанных оттаскивать.

– Чтобы мата больше я не слышал.

– Ладно.

Неделю работаю. Таскаю хуйню всякую, склянки мою, язык солью какой-то обжег в обед и дристал дня четыре чем-то синим. Думал, соль поваренная, а она, падла, химическая была. Бюллетень не брал, однако. А то в жопу миномет вставлять бы начали, как в лагере. Чернил пузырек я тогда уделал, чтобы на этап северный не идти... В общем, работаю. Оборудую новую лабораторию. Микроскопов до хуя, приборов, моторов и так далее. Вдруг надоело упираться. Я даже пошалил. В буфете у начальника отдела кадров лопатник из «скулы»⁴ увел ради искусства своей профессии. И, еб твою мать, что тут началось! Часа через полтора взвод в штатском приехал, из института никого не выпускают. Генеральный шмон, и разве только в очко⁵ не заглядывают. А все из-за чего? Я с лопатником пошел посрать, раскрыл его, денег в нем нет. Одни ксивы. То есть доносы. И на моего Кимзу тоже донос. Дескать, науку хуй знает куда отодвигает, на собраниях не поет, не хлопает, голосовал с отвратительным видом и включает легкую музыку советских композиторов. Опыты его направлены против человека, который звучит гордо, и поэтому косвенно расшатывают экономику. Понял? Четвертаком завоняло для Кимзы. Пятьдесят восьмой. Но я стука-

⁴ Боковой карман.

⁵ Анус.

чей не люблю. Чужими доносами подтерся. По ним, получалось, что весь институт – сплошной заговор осинового гнезда, а значит, и я в том числе? Донос на Кимзу я из сортира вынес. Лопатник мойкой⁶ расписал на части и в унитаз бросил. Дверь кто-то дергает, орет и бушует. Я вышел, объяснил, что химией обхавался и что дверь не зуб – не хуя ее дергать.

– Смотрите, – говорю Кимзе, – ксива на вас.

Он прочитал, побледнел, поблагодарил меня, все понял – и хуяк бумажку в мощнейшую кислоту. Она у нас на глазах растворилась к ебени бабушке. Тут меня дергают к начкадрами. Я, разумеется, в несознанке.

– Не такие, – говорю, – портные шили мне дела, и то они по швам расползались на первой примерке!

– Показания есть, что ты сзади в очереди терся. Может, старое вспомнил?

– Ебал я эти показания. Много ли там денег-то хоть было?

– Денег совсем не было.

– Ну, тогда бы я на такое говно никогда не позарился.

Штатские посмеялись. Отдохнули, видать, с моим простым языком и отпустили.

Назавтра говорю Кимзе, что работать не буду. Принципиально я не рабочий, а артист своего дела. Я, говорю, на тахте люблю лежать и хавать книжки. Тут он странно так на меня посмотрел и, главное, долго и начал издалека насчет важности для всего человечества евонной науки – биологии и что

⁶ Бритва.

он начинает опыты, равных которым не бывало. Одним словом, эксперимент. И я ему необходим. И что работа эта благодарная и творческая. Но самое интересное, что она и не работа, а одно удовольствие, причем высокооплачиваемое. Только без предрассудков к ней отнестись надо и с мыслью о будущем человечества. Он чаще всего на это дело напирал.

– Слушай, сосед, – говорю, – не еби ты мне мозгу, о чем речь-то?

– Ты должен стать донором.

– Кровь, что ли, сдавать?

– Нет, не кровь.

– Что же, – смеюсь, – говно или ссаки?

– Сперма нам нужна, Николай. Сперма!!!

– Что за сперма?

– То, из чего дети получаются.

– Какая же это сперма. Это – малофейка. Малофья, по-научному.

– Ну пусть малофья. Согласен сдавать для науки? Только не пугайся. Позорного в этом ничего нет. Кстати, полнейшая тайна тебе гарантируется.

– А ты сам чего не сдаешь? – подозрительно спрашиваю. Он нахмурился.

– Могут обвинить в выборе объекта исследования по родственному признаку. Давай соглашайся.

Тут я сел на пол и стал хохотать. Ни хуя себе работа! Чуть не обоссался, и аппендицит заболел.

– Ржешь, как болван. Сядь и послушай, для чего нам нужна твоя сперма, – сказал Кимза.

Шутки шутками, а я прислушался, и оказалось, что план у Кимзы таков: я дрочу и трухаю, что одно и то же, а малофейку эту под микроскоп будут класть и изучать. Потом попробуют ввести ее в матку бесплодной бабе и посмотрят, попадет она или нет. Тут я его перебил насчет алиментов в случае чего. Заделаешь штукам пяти, а потом шевели рогами в получку.

– Это, – говорит, – пусть тебя не волнует.

И еще у него имелись совершенно тайные планы для моей малофейки. Обещал их рассказать, как только приступим к опытам. И веришь, встал мой сопливый от этих разговоров – хоть сейчас начинай! А это мне не впервой. В лагере каждый сотый не трухает, а остальные девяносто девять дрочат, как сто. Все дело в том, чтобы морально не переживать. Другой подрочит и ходит три дня как убитый, от самопозора страдает. И на всю жизнь себя этим переживанием калечит. Знал я Мильштейна Левку – мошенника. Отбой, кожаные движки начинают работать, а Левка зубами скрипит, борется с собой и затихает постепенно. Я его успокаивал.

– Организм требует, и нечего над ним издеваться. Он ни при чем. Не будь ему прокурором!

Ну ладно. Задумался я и спрашиваю Кимзу про условия. Сколько раз спускать? Какой рабочий день, оклад и название должности в трудовой книжке?

– Оргазм ежедневно по утрам, один раз. Оформим тебя техническим референтом. Оклад по штатному расписанию. Рабочий день не нормирован. Восемьсот двадцать рублей. После оргазма – в кино.

Я виду не подал, что удивился и даже охуел. Приду, думаю, струхну – и на трамвай «Аннушка» да в троллейбус «Букашку». В случае если погорю – смягчающее обстоятельство: работаю в институте. В общем, согласился. Вечером сходил к старому международному урке. Высшего класса был вор, пока границы не закрыли на Карацупу и его верного друга Ингуса.

– Ты, – говорит урка, – счастливчик и везунчик. Но продешевил. Ведь струхня дороже черной икры стоит. Почти как платина и радий. Пиздюк официальный ты! Я бы этим биологам поштучно свои живчики продавал. На то им и микроскопы дадены – мелочь подсчитывать. Поштучно, блядь! Понял?

– Понял, как не понять. Жопа я и вправду. Ведь живчик – это самый наш цимес. И на здоровье частая дрочка дурно повлияет. Не бзди, – говорю я урке, – цену я постепенно подниму. Не фраер.

– Жалко вот, нельзя разбавить малофейку. Ну вроде как сметану в магазине. Тоже навар был бы, – говорит урка.

– Еб твою мать! – по лбу себя стукаю. – Я придерживать буду при спуске. А потом с понтом вторую палку сверх плана выдам!

– Не советую, – серьезно так говорит урка, – нельзя пре-

рывать половые сношения хотя бы и с Дунькой Кулаковой. Вредно. Я одну бабу из-за этого разогнал. Только и вопила: «Кончай куда-нибудь в другое место!» – «Может, в среднее ухо?» – спрашиваю. «Все равно куда, лишь бы не в мутер!» У меня, блядь, на этой почве на ногах ногти почти перестали расти. Веришь? Пришлось разогнать ее. Так что уж кончай по-человечески. Тащи бутылку с получки. Да! Сдери с них молоко за вредность и скажи, что тех, которые кровь сдают, кормят бациллой⁷ после сдачи. Не будь фраерюгой. В Америке пять раз струхнешь – и машину покупаешь. Понял?

⁷ Жиры, мясо и т. п.

Ну, прихожу утром на работу, стараюсь, чтобы не смеяться. Стыдно немного, а с другой стороны – хули, думаю, краснеть? Пускай ебучее человечество пользуется. Может, на пользу ему еще пойдет... Смотрю, а для меня уже хавирку маленькую приготовили, метра три с половиной, без окон. Лампа дневного света. Тепло. Оттоманка стоит. На стуле пробирка.

– Ну вот, Николай, твое рабочее место, – говорит Кимза.

– Только договоримся – без подъебок, – отвечаю.

Тут Кимза и велел мне не развивать в себе какой-то комплекс неполноценности, а наоборот, гордиться.

– Располагайся. Приступай, как только я скамандую: внимание – оргазм! После оргазма закрой пробирку пробкой.

– Чтоб не разбежались?

– Работать быстро и без потерь! Читал объявление?

Я закрылся, прилег, задумался, вспомнил, как в побег ушли мы с кирюхой в бабский лагерь и переебли там всех вороваяк, а те, кому не досталось, все больше фашистки и фраерши, трусы с нас содрали и на части их разодрали, чтобы хоть запах мужской иметь под казенными одеяльцами. Вспомнил, а сопливый уже, как кобра под дудку, головой в разные стороны поводит. Я тогда ебся редко, сразу струхнул. Полпробирки. Целый млечный путь, как говорил мой сосед

по нарам, астроном по специальности. На него дружок стукнул, что он Землю как планету в рот ебет, если на ней происходит такая хуета, что ни в какие ворота не лезет. Прости, отвлекся, несу пробирку Кимзе.

– Ого, – говорит, – посмотрим. – И размазал немного на стеклышке, а остальное в какой-то прибор сунул, весь обледенелый и пар от него валит.

Посмотрел Кимза в микроскоп и глаза на меня вытаращил. Словно по облигации выиграл.

– Ну, Николай, – говорит, – ты супермен! Сверхчеловек! Невероятно! Почему – не спрашивай. Потом поймешь. Я тебя поднатаскаю в биологии.

– Посмотреть-то можно?

– В другой раз. Сейчас иди. До завтра.

Ну, я вежливо говорю, что в Америке дороже платят и питаться надо после каждой палки от пуза, а то подрочу с неделю, и вся наука остановится: кончится моя малофейка.

– А что бы ты хотел иметь из закуски? Учти, что с продуктами сейчас трудно. Вся страна, кроме вождей и главмагов, голодает.

– Мяса грамм двести, – говорю, – хлеб с маслом. Можно семечек стакан. Чаю покрепче.

– Зачем же семечки? – спросил Кимза. Я и отвечаю, что во время дрочки другой рукой можно от скуки грызть семечки.

– Семечек не будет, – разозлился Кимза. – А насчет мяса похлопочу. Мой шеф – академик-вегетарианец. Возьму его

карточку. Он огромное значение тебе придает.

– И зарплату увеличить надо. Из своего кармана, что ли, платишь?

– Увеличим. Вот организую лабораторию, ставок выколо-чу побольше, и увеличим. Хорошо будем платить за твою малофейку. Злая она у тебя, Николай. Ну иди, а то у меня твои живчики передохнут. Вахтеру скажи: наряд на осциллографы идешь получать.

– На чернуху я мастер. Не бздите.

Иду по институту, и первый раз в жизни совесть во мне заговорила. Ишачат все эти доктора, кандидаты и лаборанты, а я подрочил себе в удовольствие – и готов. Домой иду. Неловко как-то. А с другой стороны, малофейка науке нужна и всей стране, значит. Я аккордно работаю. Вот только на дремоту меня повело после дрочки. И воровать лень. Пошел я в бар пиво пить и раков хавать с черными сухариками. Кстати, учти, от пива стоит, надо лишь думать о бабе после пяти кружек, а не насчет поссать. Как поссишь, так стоять не будет. Как же не поссать, говоришь? Внушать себе надо уметь. Вот которые в Индии живут, даже не срут по месяцу и больше, а ссаки в пот превращают и в слезы. Я так полагаю, что по-научному, по-нашему, по-биологицки, кал, то есть говно, у этих йогов в запах превращается. Ну вот, скажем, спирт. Не закроешь, он и выдохнется. Только спирт быстро выдыхается, а говно долго, в нем, в говне, молекула совсем другая, и очень вонючая, гадина такая. А уж про

атом говенный и говорить нечего. Он, блядьюга, и не расщепляется, наверное, в синхрофазотроне. Между прочим, спрошу у Кимзы, что будет, если он расщепится. Верняк – мировая вонь поднимется до облаков... Ты пей! Спиртяга – высшей чистоты. Мне на месяц два литра выдают, муде перед оргазмом дезинфицировать. Ну а я как советский человек экономию навожу. Ведь как дело было. Кимза всем остальным выдает спирт, а мне – нет. Ну уж хуюшки, думаю себе, и в пробирку к малофейке грязь наскреб с каблука. Я не фраер. Кимза сразу тревогу забил:

– Почему живчики не стерильны? Почему они чумазные? Руки трудно вымыть донору?

– Надо, – говорю, – при опыте не руки мыть, а член – оружие производства. Он, небось, в штанах, а не в безвоздушном пространстве. Мало ли где за сутки побывает.

– Сколько тебе спирту надо? – нахмурился Кимза.

– Два литра, – говорю.

– Многовато. Триста грамм хватит.

Тут я доказал, что, прежде чем за хуй браться, нужно все пальчики обтереть на обеих причем руках, я ведь руки мою, а заодно и пах стерилизовать, так сказать.

– Хорошо. Литр ему выпишите на месяц, – велел Кимза.

– Э-э! – уперся я. – Не пойдет так дело. Литр – это в расчете на член лежащий, в самом лежачем виде, как, допустим, после холодного моря Гагров, а на стоячий надо в три раза больше. И я еще по совести прошу. Я, блядь, самое ценное в

себе отдаю людям! Я бы в Америке давно уже дачу имел на курорте «Линкольн» и другую недвижимость. И я, блядь, не мертвые души государства забиваю, как Чичиков, а свежую свою родную сперму. А потому и нечего на мне экономию разводить! Я – человек! Ты меня залей спиртом, и я его сам первый пить не стану. А то подъебывает каждая падла, что я член при жизни заспиртовать решил. Мандавошки! Если бы не я, вы бы не диссертации защищали, а свои жопы на летучке у директора. На моем хую держитесь! Учреждение наше – НИИ – склочное, и порядку в нем нету. Не то что в тюрьме или в БУРе. Я сроду не стучал, но если вы, змеи, зажмете спиртягу, ей-богу, стукну в партком, местком и профком!

– Хорошо. Два литра, – сказал Кимза. – И ни грамма больше! – И скомандовал в лаборатории: – Внимание – оргазм!

Вот я, кирюха, и со спиртиком. Даже рационализацию устроил: протираю лежащий, а не стоячий, и премию за это даже получил... Будем здоровы! Ты хавай. Эту севрюгу и красную икру я специально для тебя сегодня оставил. Ну так вот. Черную, между прочим, я не уважаю. У меня диатез от нее. Жопы идет пятнами, чешется ужас как, и кальций надо пить, а он, сволочь, горький очень. Ну так вот. Об такой закуске тогда еще и мечтаний не было.

Хожу я, значит, по утрам в институт, номерок вешаю и с Машками не путаюсь, потому что боюсь лично наебаться и по сдаче спермы фуффло двинуть⁸, как сейчас говорят, крутануть динамо. Привык. Решил Кимзе ультиматум предъявить.

– Ты, – говорю, – на работу простую энергию тратишь, а я самую главную, и я, – говорю, – когда кончу, на ногах еле стою и под ложечкой тянет. Может, мне и жить-то еще лет пятнадцать, а вам, сукам, гужеваться!

А у Кимзы опыты пошли успешно, он иногда шутил даже поставить памятник моему члену заводной. Чтобы он вставал с первыми лучами солнца. В старину такие были памятники. Но их снесли. Застеснялись. А кого застеснялись? Ведь член, кирюха, если разобраться, самое главное. Главней мозгов. Мы же лет миллион назад не мозгами ворочали, а хуями. Мозги же развивались. Да если бы не так, то и ракета была бы не на хуй похожа, а на жопу, и из нее только бы вонь и грохот шли. Сама же не то что до Луны... В общем, хули говорить. Помни мое слово, вот увидишь! Когда мозге больше некуда будет развиваться, настанет общий пиздец. Стоять не будет по тем временам даже у самых дураков, вроде нас с тобой. Все будут исключительно давать дуба, а в родильных

⁸ Обмануть.

домах и в салонах для новобрачных пооткрывают цветочные да венковые магазины. А на улицах под ногами стружка будет шуршать: столярные работы начнутся. Ладно! Хули ты шнифты раскрыл? Не скоро это еще, и общий пиздец все равно не состоится. Но об этом речь впереди... Я и говорю Кимзе:

– Набавляй. Мне и прибарахлиться надо, и телевизоры скоро выпускать начнут, а то опять воровать пойду или на водителя трамвая «Букашка» учиться. Хоть из своего кармана выкладывай, и частным образом буду тебе живчиков толкать. Две тыщи с половиной хочу получать.

– Хорошо. Уволим двух уборщиц. Оформим тебя по совместительству.

– Ну уж, ебу я такой труд на половых работах!

– Ты будешь числиться, а убирать будут другие лаборанты. Ясно?

– Это другое дело.

– Аппетиты твои растут, надо сказать.

– Что-о-о, курва? – говорю. – Хочешь, чтобы я женился?

– Ну-ну! Не бесись. Мне ведь и десять тыщ на тебя не жалко. Вот получу если Нобелевскую премию – отвалю приличную сумму. А сейчас времена в нашей науке сложные и тяжелые. Дай бог опыт до конца довести! Завтра начнем.

Ну, я обрадовался! Две четыреста! Хуй на автобусе зарабатываешь, не то что на «Букашке».

И пошел я на радостях в планетарий. Сначала поддал, конечно, как следует. Я люблю это дело. Садись под легкой балдой в кресло, лектор тебе чернуху раскидывает про жизнь на других землях и лунах, а ты сидишь себе, дремлешь, а над башкой небо появляется, и звезды на нем и все планеты, которые у нас в стране не видны, например Южный Крест, и чтобы его увидеть, надо границу переходить по пятьдесят восьмой статье, которая мне нужна, как пизде будильник. Вот мигают звездочки и созвездия разные, и небо – чернота сплошная – тихо оборачивается, а ты, значит, под легкой балдой в кресле, вроде бы один на всей Земле, и ни хуя тебе, твари жалкой, не надо. И вдруг светать начинается. Пути Млечного не видать, розовеет по краям. Хитрожопый такой аппарат! Потом часы бьют – бим-бом. Зеваю шесть часов. Скорей бы утро, и снова на работу. Слава богу, думаю, что не на нарах лежу и не надо, шелюмку похлебавши, пиздячить к вахте, как курва с котелками... Поддал я еще в баре на радостях от прибавки и попер к бывшему международному урке, а у него в буфете хуй ночевал. Пришлось бежать в гастроном. Ну, захмелел урка, завидует мне, и хвалит, и велит не трепаться, чтобы не пронюхал всякий хмырь – студент.

– Бойся, – говорит, – добровольцев. Их у нас до хуя и боль-

ше.

Я тоже накирлялся в сосиску. Утром проспал, бегу, блядь, а в башке от борта к борту, как в кузове, жареные гвозди пересыпаются. Кимза на меня Полкана спустил, кричит:

– Вы задерживаете важнейший опыт!.. Внимание – оргазм!

А около прибора, от которого пар идет, академик бежит в черной шапочке и розовые ручки потирает. Запираюсь в своей хавирке, включаю дневной свет. Рука у меня дрожит, хоть бацай на балалайке, а кончить никак не могу, дрочу, весь взмок. В дверь Кимза стучит, думает, я закемарил с похмелья, и спрашивает:

– Почему оргазм задерживается? Безобразие!

У меня уже руки не поднимаются, и страх подступил. Все! Увольняйте, бляди, без выходного пособия! Пропала малофейка. Пропала моя малофейка! Открыл дверь, зову Кимзу.

– Что хочешь делай. Сухостой у меня. Никак не кончу.

Академик просунул голову и говорит:

– Что же вы, батенька, извергнуть не можете семечко?

Я совсем охуел и хотел сию же минуту по собственному желанию уволиться, и тут вдруг одна младшая научная сотрудница Влада Юрьевна велит Кимзе и академику:

– Коллеги, пожалуйста, не беспокойте реципиента. – То есть меня. Закрывает дверь. – Отвернитесь, – говорит, – пожалуйста.

И выключает свет дневной. И своей, кирюха, собственной

рученькой берет меня вполне откровенно за грубый, хамский, упрямую сволочь, за член... и все во мне напряглось, и словно кто в мой позвоночник спинной алмазные гвоздики забивает серебряным молоточком и окунает меня с головы до ног в ванну с пивом бочковым, и по пене красные раки ползают и черные сухарики плавают. Вот, блядь, какое удовольствие было! Не знаю даже, сколько времени прошло, и вдруг чую: вот-вот кончу, и уже сдержать себя не мог, закрипел зубами, изогнулся весь и заорал... Потом уж рассказывал Кимза, что орал я секунд двадцать, и аж пробирки зазвенели, а осциллографа лампочка перегорела от моей звуковой волны. Сам же я полетел в обморок, в пропасть.

Открываю глаза. Свет горит, ширинка застегнута на все пуговицы, в голове холодно и тихо, и вроде бы набита она сырковой массой с изюмом. Очень я ее уважаю. Никакого нет похмелья. Выхожу в лабораторию. На меня зашикали. Академик над прибором, от которого пар валит, колдует и напевает: «...А вместо сердца пламенный мотор...» Ну как себя не уважать в такую минуту. Я и уважал. Вдруг что-то треснуло, что-то открыли, гайки скинули, академик крикнул: «Ура!» – подбежал ко мне, руку трясет и говорит:

– Вы, батенька, возможно, прародителем будете вновь нарождающегося человеческого племени на другой планете! Каждый ваш живчик пойдет в дело! В одном термосе – народ! В двух – нация! А может, наоборот. Сам черт не разберется в этих сталинских формулировках. Поздравляю! Же-

лаю успеха. – И убежал.

Я ни хуя не понимаю. Влада Юрьевна смотрит на меня, вроде и не она дровича, а оказывается, вот что: мою наизлющую малофейку погружали в разные жидкие газы, замораживали, к ебаной бабушке, в камень, ну и оттаивали. Оттают и глядят: живы хвостатые или нет, а в них гены затасованы. Никак не могли газ подобрать и градусы. И вот – подобрали. И что же? Ракет тогда не было. Но Кимза мечтал запустить мою малофейку на Андромеду и – в общем, я в этом деле не секу – посмотреть, что выйдет. Понял? Ты ебало не разевай. Еще не то услышишь. Они бы попали на Андромеду и в стеклянном приборе, как в пузе, забеременели бы. Через девять месяцев – раз, и появляются на планете Андромеда живехонькие Николаи Николаичи! Штук сто сразу, и приспособливаются, распиздяи, к окружающей среде. Не веришь? Мудило! А ты купи карпа живого, заморозь, а потом в ванну брось. Он же и оживет. А-а-а! Хуй на! Чтоб не падал от удивления. Так вот, возвращается академик. Хотя нет! Сначала я говорю:

– Дайте хоть взглянуть краем глаза на этих живчиков. – Пристроил я шнифт к микроскопу. Гляжу. А их видно-невидимо. Правда, что народ или нация. И каждый живчик в ней – Николай Николаевич. Надо бы, думаю, по бабе на каждого, но наука еще додумается. Вот приходит академик и говорит:

– Вы, Николай-батенька, уж как-нибудь сдерживайте себя,

не рычите, не орите при оргазме, а то уж по институту слух пополз, что мы вивисекцией здесь занимаемся. А времена знаете какие? Мы – генетики – без пяти минут враги народа. Да-с. Не друзья, а враги. Сдерживайте себя. Трудно. Верю. Но сдерживайте. Скрипите хотя бы зубами.

– Это, – говорю, – нельзя. От зубного скрипа в кишке глисты зарождаются.

– Кто вам, милый вы мой, это сказал?

– Мамаля еще говорила.

– Кимза! Подкиньте эту идею Лепешинской. Пусть ее молодчики скрипят зубами и ждут самозарождения глистов в своих прямых кишках. По теории вероятности успех обеспечен. А еще лучше – вставьте им в анусы по зубному протезу... Шарлатаны! Варвары! Нахлебники! Враги народа!

Тут академик закашлялся, глаза закатил, побелел весь, трясется, вот-вот хуякнется на пол, а я его на руки взял.

– Не бздите, – говорю, – папаша, ебите все в рот, плюйте на солнышко, как на утюг, разглаживайте морщины!

Академик засмеялся, целует меня.

– Спасибо, – говорит, – за доброе, живое слово, не буду бздеть, не буду! Не дождутся! Пусть бздит неправый! – Он это по-латински добавил.

Кимза тут спирт достал из сейфа. Я закусон приволок свой донорский, ну мы и ебнули за успех науки. Академик захмелел и кричит, что не страшна теперь человечеству всемирная катастрофа и что если все пиздой накроются и заму-

тируют, то моя сперма зародит нового здорового человека на другой планете, а интеллект – дело наживное, если он вообще человеку нужен, потому что хули от него, кирюха ты мой, толку, от интеллекта этого? Ты бы посмотрел, как ученые хавают друг друга без соли, блядь, в сыром виде, разве что пуговички сплевывают. А международное положение какое? Хуеватое. Вот какое! У зверей, небось, львов там или шакалов, даже у акул нету ведь международного положения, а у человека есть. Из-за интеллекта. Ладно. Прости за лекцию. Пей. А радиация, блядь! Из-за этой радиации, знаешь, сколько нас импотентами стало? Хорошо – у меня иммунитет от нее, суки позорной.

Короче, прихожу на другой день или после воскресенья, ложусь в хавирке на диванчик, а член не встает. Дрочу, дрочу, а он не встает. От рук отбился, гадина, совсем. Заелся, пропадлина. А дело было простое – я ведь все воскресенье про Владу Юрьевну мечтал, сеансов набирался, влюбился, ебитская сила. Но работать-то надо! Кимза орет без толку: внимание, товарищи, – оргазм! Опять занервничал. И представь, Влада Юрьевна говорит, что, мол, у меня теперь какой-то стереотип динамический в голове образовался и придется ей снова вмешаться. Я от этих слов чуть не кончил. Села она, кирюха ты мой, опять рядышком и пальчиками его... а-а-ах! Закрываю глаза, лечу в тартарары, зубами скриплю, хуй с ними, с глистами, а в позвоночник мой по новой забиваются, загоняются серебряным молоточком алмазный гвоздик за алмазным гвоздиком. Ебс! Ебс! Ебс! И по жилам не кровь течет, а музыка. И веришь, ногти чешутся на руках и на ногах так, что, как кошка в течку, все охота царапать, царапать и рвать на кусочки. Тебя пиздячило когда-нибудь током? Триста восемьдесят вольт, ампер до хуя и больше, в две фазы? А меня пиздячило. Так это все мура по сравнению с тем, когда кончаешь под руководством Влады Юрьевны. Молния, падла, колен в двадцать ебистосит тебя между большими полушариями, не подумай только – жопы, голо-

вы! И – все! Золотой пар от тебя остается, испарился ты в дрожащую капельку, и страшно, что рассыпались навсегда все двадцать розовых колен родной твоей молнии. Выходит дело, я опять орал и летел в пропасть. Кимза ворвался. Бешеный, белый весь, пена на губах, заикается, толком сказать ничего не может, а Влада Юрьевна ему и говорит, спиртом рученьки протирая:

– Опыты, Анатолий Магомедович, будут доведены до конца. Не теряйте облика ученого, так идущего вам. Если Николай кричит, то ведь при оргазме резко меняются параметры психологического состояния и механизмы торможения становятся бесконтрольными. Это – уже особая проблема. Я считаю, что необходимо строить сурдобарокамеру. И заказать новейшую электронную аппаратуру.

Ты бы посмотрел на нее при этом. Волосы мягкие, рыжие, глаза спокойные, зеленые, и никакого блядства на лице. Загадка, сука. То-то и оно-то. А у Кимзы челюсть трясется и на ебале собачья тоска. Если бы был маузер – в решето распатронил бы меня. Блядь буду, человек, если не так. Ну и я не фраер, подобрался, как рысь магаданская, и ебал я теперь, думаю, всю работу, раз у меня любовь и второй олень появился на голубом горизонте.

– А вас, Николай, я прошу не пить ни грамма еще две недели. Чтобы не терять времени при мастурбации. У нас его мало. Лабораторию вот-вот разгонят, – только и сказала Влада Юрьевна и вышла, лапочка.

Кимзе я потом говорю:

– Чего залупился? Давай кляпом рот затыкать буду.

– А без кляпа не можешь?

– Ты бы сам попробовал, – говорю.

Он опять побелел, но промолчал. А у меня планы наполеоновские. Дай, думаю, разузнаю, где живет Влада Юрьевна. Подождал ее на остановке, держусь на расстоянии, когда сошли. Темно было. Она идет под фонарями в черном пальто-манто, ноги, как колонны у Большого тетра, белые, блядь, стройные, только красиво сужаются книзу, и у меня стоит, как новый валяный сапог, а я без пальто, в кепчонке с Дубинского рынка. Кое-как отогнул хуй влево, руку в кармане держу, хромаю слегка. Зашла она в подъезд. Смотрю – по лесенке не спеша поднимается, и коленка видна, когда ногу ставит на ступеньку. Пятый этаж... ушла... А у меня в глазах: нога ее и коленка, ох какая коленка, кирюха ты мой! Вдруг легавый подходит и говорит:

– Чего выглядываешь тут, прохиндеина?

– Нельзя, что ли?

– Ну-ка, руку вынь из кармана! Живо!

– Да пошел ты! На хуй соли я тебе насыпал? – Как же я руку-то выну? Неудобно, думаю.

– Р-руки вверх! – заорал легавый. Смеюсь. – Руки вверх, говорю! – И правда, дуру достает и дуло мне между рог ставит. Я испугался, руки поднял, а хуило торчит, как будто в моем кармане «максим»-пулемет.

Легавый ахнул, дуло к сердцу моему перевел и за хуй цап-царап.

– Что такое?! – растерянно спрашивает.

– Пощупай получше и доложи начальству, – говорю. – Убедился?

– А документы есть? – Дуру легавый в кобуру спихнул сразу.

– Только член, – отвечаю.

– Чего он у тебя... того?.. Стоит на улице?

– Любовь у меня. Вот и стоит.

– Иди уж, дурак. Весь в комель уродился. Увидел, что ль, кого?

Посмотрел легавый, голову задрал, нету ли где в окне голый бабьей жопы по случаю, и ушел с досадой. А я сел на краешек мостовой, напротив, и гляжу, как стебанутый мешком с клопами, на дом Влады Юрьевны. Любовь, бя, это тебе, кирюха, не червонец сроку. Это, бя, пострашней, и на всю жизнь. От звонка до звонка. Ох, как я тогда мучился! Вроде бы кто гвозди мне под ногти загонял! Ты не думай, что в ебле дело было. Мне бы просто так смотреть на лицо ее белое без блядства, на волосы рыжие и глаза зеленые. А руки? Рук таких больше нет ни у кого! Вот с чем бы тебе, мудило, сравнить их? Вот представь, стоишь ты босиком на льдине. Семь ветров дуют в семь твоих бедных дырочек. У мужчин, дубина ты, семь, а у баб восемь. На одну дырочку больше, а сколько шухера! В душе, в общем, сквозняк, и жизнь твоя,

курва, кажется чужой зеленой соплей. Харкотиной, более того, а вокруг тебя конвой в белых полушубках и горячие бараньи ноги хавают – обжигается. Дрожишь, говнюк? А ты выпей! Вот так. И вдруг... вдруг нету ни хуя, ни конвоя, ни чужих горячих бараньих ног, а теплый песочек и пальмы, чтоб мне твое сердце пересадили. А под пальмами шоколадные бабы, и одна, самая белая, подходит и намазывает тебе бесплатно на муде целую банку розового крема, не для бритья, а в пирожные эклер который помещают. Приятно? Но приятно что! И так тебя быстро перевели из одной окружающей среды в другую, словно бы из карцера в больничку, что ты в это не веришь ни хера и орешь от страха, и хуякс – в обморок. А ты не горюй. Попадаешь еще по обморокам. Попадется тебе баба, вроде Влады Юрьевны, и попадаешь. Ты маленький температурный: в залупе – ртуть. Только тебе чего надо? Тепла! Паечку тепла, законную и кровную. Хули ты ко мне с обмороками пристал? Что я, профессор, что ли? «Почему? Почему?» Еб твою мать! Раскинь шарики-то свои! Ведь из мужиков редко кто падает в обмороки. Все больше бабы. И какие бабы? Простые. Работяги. Не только асфальтировщицы. Мудак ты все-таки! А и кассирши, и бухгалтерши, и в химчистке которые блевотину нашу принимают, и воспитательницы из яслей, и продавщицы, особенно зимой, если на улице овощи продают, фрукты и мороженое, и со стройки бабы, и с мясокомбината, и из всяких фабрик и мастерских. Ведь как дело обстоит? Вроде бы за день наебешься на ра-

боте так, что только пожрать – и на бок, и намерзнешься, и жопу отсидишь, и руки ноют, и глаза болят, если баба чертежница. А на самом деле в чем секрет-то? Или муж, или ебать кидает простой такой бабе палку, и она, милая, как на другую планету переносится, я ж тебе не раз разжевывал, дубина ты врожденная. Вот летчик в пике когда входит, тоже обморок чувствует. И космонавты, пока не вырвутся из нашей вонючей атмосферы. Перегрузки, значит. Вбей это себе в голову. И в ебле, при палке, тоже перегрузки наступают уму непостижимые и телу невозможные. И все в этот миг сгорает к ебаной бабуле: и заботы, и ломота, и что за квартиру не плачено, и что какая-то мандавша чулок порвала в автобусе, а ему в паре с другими пять рублей цена – полтора дня работы... Все забывается, еще раз подчеркиваю. Все, что ебет за день нашу работающую женщину... А вот, приблизительно, миллиардерши – те не то чтобы в обморок хрякнуться, но и вообще кончать не могут, скажу я тебе официально. Разберем почему. Неверящему Антропу – хуй в жопу. Я тебе логикой между рог вдарю. Слыхал про кино Муссолини «Сладкая жизнь»? Там это дело показано. Или про кинозвезд читал? По пять раз замуж выходят. Разве побежит баба от мужика, если он ее в космос выводит? Если она под ним помирает, травиночка, от счастья? Ни в жисть! И эта самая жисть устроена хитрожопо. Раз тебе на обед какаду, леденцами набитые, и шашлык из муравьеда, и лакеи в плавающих шестерях, а в шкапе шуб, что в коммиссионке, и три машины

внизу, да в каждой шофер с монтировкой до колен, только позвони – прибежит и влупит, то от всего этого изобилия ты в обморок не упадешь и совсем не кончишь. Захавались. Отсюда хулиганство в крови и легкие телесные повреждения. Бывают и тяжелые. Она кончить не может и начинает миллиардера кусать, а он, паскудина, не орет: ему приятно. Потом сам ее кусать начинает, рычит от удовольствия, ну и до блевотины надоедят друг другу. Развод. Или миллиардер идет смотреть, как баба под музыку раздевает сама себя. Они зачем это смотрят? А вот зачем. Если ты мужик нормальный и баба перед твоим носом платьице – влево, комбинацию – вправо, лифчик – фьюить, штанишечки – в сторону, а проектор голубой светит ей прямо в собранную муфточку, а розовый в сиськи, то не знаю, как ты, кирюха, а я бы – клянусь, пусть мне твое сердце пересадят, если вру, – помчался бы по черепам на сцену, и пока мне полиция крутит руки, бьет дубинкой по башке, свистит, гадина такая, газы в глаза пускает, а я пилю и пилю этот стриптиз, пока не кончу. А когда кончу, вези меня в черном «форде» на суд. И на ихнем суде я скажу в последнем слове:

– Поскольку горю с поличным – сознаюсь. Уеб! И правильно! Не раздевайся на моих глазах. Ты мне не жена! Всегда готов к предварительному тюремному заключению!

Вот как поступит здоровый русский человек, который против разврата. А миллиардеры, знаешь, зачем на стриптиз ходят? Потому что можно эту бабу не ебать. Они рады,

что закон запрещает забираться на сцену. А здоровый мужик туда не пойдет. Яйца так опухнут от сеанса, что до Родины враскорячку добираться придется. Ну, теперь все тебе ясно? Откуда я все это знаю? В сорок четвертом с одной бабой жил в лагере. Жена директора дровяной базы. С дровами-то вшиво в войну было, ну он и нахапал миллионы. А она, миллионерша, полхера у него откусила без смягчающих обстоятельств. Ее посадили, а его вылечили и сказали:

– Поезжай на фронт. Развратничаешь, сволочь, когда все-народная кровь льется!

Так что миллионы выходят боком, как видишь. Вопросы есть? Да. И с кассиршей я жил, и с завхимчисткой, и с поварихой. Ты лучше спроси, с какой профессией я не жил. Разве что с вагоновожатой трамвая «Аннушка». Даже с должностями я жил, не то что с профессиями. Да. И все в обморок падали. Бывало по многу раз. Почему же ты не веришь в эти обмороки? У тебя же логика в башке не ночевала! Докажу. Замечал, что в аптеках нашатырного спирта часто не бывает? Почему, думаешь? Нет, его не пьют, а нюхают, он при обмороках помогает. А они когда бывают? При оргазмах! Или ваты нету ни в одной аптеке? Значит, у всех в один день месячные появились. По теории вероятности так выпало. Анализ надо привыкать делать. Помнишь, лезвий было нигде не достать? Это китайцы стаю мандавошек перекинули к нам через Амур. Пришлось все вплоть до бровей брить, а я же не стану после мудей этим лезвием скоблить бороду?

Перерасход вышел по лезвиям. Логикой думать надо, одним словом, и хватит мне мозгу засерать!.. Налей боржомчику. У меня изжога от твоей тупости. Любя говорю. На чем остановились? Да. Влюбился я. Вьебурился по самые уши.

На другой день Кимза на меня волком смотрел, не разговаривал, а Влада Юрьевна цыганским своим голосом спросила:

– Может быть, сегодня, Николай, вы сами? А я подготовлю установку.

– Конечно, – говорю. Запираюсь в хавирке, жду команды: внимание – оргазм! Думаю о Владе Юрьевне. И у меня с ходу встает.

Тут она постучала, просовывает в дверь книжку и советует:

– Вы отнеситесь к мастурбации как к своей работе, исключите начисто сексуальный момент как таковой. К примеру, мог бы дядя Вася работать в морге, если бы он рыдал при виде каждого трупа?

Логикой она меня убедила, хотя я подумал, что как же это так, если исключить сексуальный момент? Ведь тогда и стоять не будет. Однако поверил. Одной рукой дрочу, другой – книгу читаю. Кимза, сволочь, олень-соперник, стучал два раза и торопил. Я его на хуй послал и сказал, что я ему не Мамлакат Мамаева и не левша и обеими руками работать не умею. Книга была «Далеко от Москвы». Интересно. Я сам ведь был на том нефтепроводе. Вот какие судьба дает повороты. Несу пробирку с малофейкой Владе Юрьевне.

– Спасибо. Вы не уходите, Николай. Вникайте в суть наших экспериментов. Анатолий Магомедович разрешил. В этой установке мы будем сегодня бомбардировать ваших живчиков нейтронами и облучать их гамма-лучами. А затем, вот в этом приборе ИМ-1, начнется наблюдение за развитием плода. Это – матка. Только искусственная. Наша тема: исследование мутаций и генетического строения эмбрионов в условиях жесткого космического облучения с целью выведения более устойчивой к нему человеческой особи.

Я раскрыл ебало, как ты сейчас, ничего не понимаю, но смотрю. Малофейку мою в тоненькой стекляшке заложили в какую-то камеру. Кимза орет: «Разряд!» – а мне страшно и жалко малофейку. Ты представь: нейтрон этот несется, как в жопу ебанный, и моего родного живчика Николай Николаевича – шарах между рог! А он и хвостик в сторону. Надо быть извергом, чтобы спокойно чувствовать такое. Я зубы сжал, еще немного – распиздошил бы всю лабораторию. Тут вынимают мою малофейку, смотрят в микроскоп – а она ни жива ни мертва – и в газ суют для активности. Потом отделили одного живчика от своих родственников и в искусственную поместили матку. Господи, думаю, куда же мы забрели, если к таким сложностям прибегаем. Кто эту выдумал науку? Пойду я лучше по карманам лазить в троллейбусе «Букашка» и в трамвае «Аннушка». Особенно зло меня разобрало на эту матку искусственную. Шланги к ней разные тянутся, провода, сама блестит, стрелками шевелит, лампочками, су-

ка такая, мигает, а рядом четыре лаборантки вокруг нее на цирлах бегают, и у каждой по матке, лучше которых не придумаешь, хоть у тебя во лбу полметра с дюймом. И поместили туда Николай Николаевича! А что, если он выйдет оттуда через девять месяцев, а глаз у него правый нейтроном выбит, и ноги кривые, и одна спина короче другой, и вместо жопы – мешок, как у кенгуру? А? Чую – говно ударило в голову. Хорошо Влада Юрьевна спросила:

– Вы о чем задумались, Николай?

– Так. Прогресс обсуждаю про себя, – говорю и в обе фары уставился на нее, сердце стучит, ноги подгибаются, дыхания нет: любовь! Беда!

Вечером беру спирт, закусон и иду на консилиум к международному урке.

– Так и так, – говорю, – что делать?

– Не с твоим кирзовым рылом лезть в хромовый ряд. На этом деле грыжу наживешь и голой сракой об крашенный забор ебнешься, – говорит урка. – Забудь любовь, вспомни маменьку.

– Пошел ты на хуй малой скоростью, – говорю.

– Хороший ответ, молодец. Вот если бы так в райсобесе отвечали, то и никакой бюрократии в государстве бы не было. А то с пенсией тянут, тянут. Патриотизма в них ни на грош.

Урка пенсию по инвалидности хлопотал. Он, видать, задумался, приуныл. Я и покандехал к дому. В сердце – сплош-

ной гной. Впору подсесть и перезимовать в Таганке всю эту любовь. Мочи нет. И даже не думаю, есть у Влады муж или нет его, насрать мне на все, глаза на лоб лезут, и учти, дело не в половой проблеме. Бери выше. Ночь не спал, ходил, голову обливал из крана, к Кимзе постучал. Он не пустил. Может, спал? Утра не дождусь. Как назло, часы встали. Прибегаю, а в лаборатории все Владу Юрьевну с чем-то поздравляют, руки трясут, в руках у нее букет, она головой кивает по-княжески, с высоты, увидела меня, подходит и дает цветочек. Кимза же, заметил я, плачет тихо, слезы текут.

– Николай! Для вас это тоже праздник своего рода. – У меня рыло перекосило шесть на девять, и что бы ты думал? Оказывается, Влада Юрьевна попала от меня искусственно первый раз то ли в РСФСР, то ли во всем мире. «Как? Как?» Ну и олень ты сохатый. На твои рога только кальсоны сраные вешать, а шляпу – большая честь. Голодовку объявлял когда? А я объявлял. Меня искусственно кормили через жопу. Ну и навозились с ней граждане начальники! Только воткнул трубку с манной кашей, а я как перну – и всех их с головы до ног. Они меня сапогами под ребра, по пузу топают, газы спугают и опять в очко загоняют кашицу или первое, уж не помню. А я опять поднатужусь, кричу: «Уходи! Задену!» – их как ветром сдуло. Откуда во мне бздо бралось – ума не приложу. От волюнтаризма, наверное. А может, от стального духа. Веришь, перевели меня из Казанской тюрьмы в Таганку, чего и добивался. Похудел только.

Короче, Владе Юрьевне Кимза вставил трубочку, и по трубочке мой Николай Николаевич заплясал на свое место. Вот в какую я попал непонятную, сука, историю. Не знаю, как быть и что говорить. Только чую: скоро чокнусь. Мне бы радоваться как папаше будущему и мать своего ребенка зажать и поцеловать, а я в тоске и думаю, ебись ты в коня, вся биология, жить бы мне сто лет назад, когда тебя не было. Чую: скоро чокнусь, смотрю на Владу Юрьевну, вот она, один шаг между нами, и не перейти его. А в ней ни жилка не дрогнет, ни жилочка. Сфинкс. Тайна. Вроде бы ей такое известно, до чего нам не допереть, если даже к виску отбойный молоток приставить. Однако беру психику в руки.

– Вы, Николай, не смущайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Если хорошо кончится – вы дадите ему имя. Я вас понимаю... все это немного грустно. Но наука есть наука.

Я, чтобы не заплакать, ушел в свою хавирку, лег, мечтать начал о Владе Юрьевне, привык на нарах таким манером себя возбуждать, мастурбирую и «Далеко от Москвы» читаю. В лаборатории вдруг какой-то шум, я быстро струхнул в пробирку, выхожу, несу ее в руке. А там, блядь, целая делегация. Замдиректора, партком, начкадрами и какие-то не из биологии люди. Приказ читают Кимзе. Лабораторию упразднить. Кимзу и Владу Юрьевну уволить. Лаборанток перевести в уборщицы, а на меня подать дело в суд, ни хуя себе уха, за очковтирательство, прогулы и занятия онанизмом, не соответствующие должности технического референта. А за то, что я уборщицей был по совместительству, содрать с меня эти деньги и зарплату до суда заморозить. Я как стоял с малофейкой в руке, так и остался стоять. Ресничками шевелю, соображаю, какая ломается мне статья, решил уже – сто девятая. Злоупотребление служебным положением. Часть первая. А замдиректора еще что-то читал про вредительство в биологической науке и как Лысенко их разоблачил, насчет империализма-менделизма и космополитизма. Принимаюсь. Родной судьбой запахло, потянуло тоскливо. Судьба моя пахнет сыро, вроде листьев осенних, если под ними еще куча говна собачьего с прошлого года лежит.

– Вот он! Взгляните на него! – Замдиректора пальцем в

меня тычет. – Взгляните, до каких помощников опустились наши горе-ученые, так любившие выдавать себя за представителей чистой науки. Чистая наука делается чистыми руками, господа менделисты-морганисты!

Челюсть у меня – кляцк! Пиздец, думаю! Тут, окромя собственной судьбы, еще и политикой чужой завоняло. С ходу решаю уйти в глухую несознанку. С Менделем я не знаком. На очной ставке так и скажу, что в первый раз в глаза вижу и что я таких корешей политанией вывожу, как лобковую вшу. А насчет морганиста прокурору по надзору заявлю, что в морге моей ноги не было и не будет и мне неизвестно, ебал кто покойников или не ебал. Чего-чего, а морганизма, сволочи, не пришьете! За него же дают больше, чем за живое изнасилование! Это ты уж, кирюха, у прокурора спроси, почему извилина у тебя одна и та на жопе, причем не извилина, а прямая линия. Не перебивай, лох позорный. Гуляй по буфету и слушай... Прибегает академик, орет: «Сами мракобесы!» А замдиректора берет у истопника ломик и шарах этим ломиком сплеча по искусственной пизде!

– Нечего, – говорит, – на такие горе-установки народные финансы переводить! – Малофейку у меня из руки вырвал и выбросил, гад такой, в форточку. Из этого я вывел, что он уже не зам, а директор всего института. Так и было.

Кимза вдруг захохотал, академик тоже, Влада Юрьевна заулыбалась, народу набилось до хера в помещении. Академик орет:

– Обезьяны! Троглодиты! Постесняйтесь собственных генов!

– У нас, с вашего позволения, их нету. У нас не гены, а клетки! – отбрил его замдиректора. – Признаетесь в ошибках?

Потом составляли кому-то приветствие, потом на заем подписывались, и меня дернули на заседание Ученого совета. И вот тут началась другая судьба, убрали говно собачье из-под осенних листьев. Выкинул я его своими руками. Но по порядку. Поставили меня у зеленого стола и вонзились. Мол, зададут мне несколько вопросов, и чем больше правды я выложу, тем лучше мне будет как простой интеллигентной жертве вредителей биологии. Задавать стал замдиректора.

– В каких отношениях находился Кимза с Молодиной? Писал ли за нее диссертацию и оставались ли одни?

Но по порядку. Я тебе разыграю допрос.

– В отношениях, – говорю, – научных. На моих глазах не жили.

– Говорил академик, что сотрудники Лепешинской только портят воздух?

– Не помню. Воздух все портят. Только одни прямо, а другие исподтишка.

– Вы допускали оскорбительные аналогии по адресу Мамлакат Мамаевой?

– Не допускал никогда, уважал с детства. Имею портрет. Я сразу усек, что донос тиснула одна из лаборанток. Боль-

ше некому. Валя, псина.

– Кимза обещал выдать вам часть Нобелевской премии?

– Не обещал.

– Кто делал мрачные прогнозы относительно будущего нашей планеты?

– Не помню.

– Как вы относились к бомбардировке вашей спермы нейтронами, протонами и электронами?

– Сочувственно.

– Обещал ли Кимза сделать вас прародителем будущего человечества?

– На хуй мне это надо? – завопил я. – Первым по делу пустить хотите?

– Не материтесь. Мы понимаем, что вы жертва. Что сказал академик относительно сталинского определения нации?

– По мне, все хороши, лишь бы ложных показаний на суде не давали. Что жид, что татарин.

– Почему вы неоднократно кричали? Вам было больно?

– Приятно было, наоборот.

– Вам предлагали вивисекцироваться?

– Нет, ни разу.

– Вы знаете, что такое вивисекция?

– Первый раз слышу.

– В чем заключалась ваша... ваши занятия?

– Мое дело драть и малофейку отдавать. Больше я ничего не знаю. Действовал по команде: внимание – оргазм!

Как услышу, так включаю кожаный движок.

– Как относились сотрудники лаборатории к Менделю?

– Исключительно плохо. Неля даже говорила, что они во время войны узбекам в Ташкенте взятки давали и вместо себя в какой-то посылали Освенцим. И что ленивые они. Сами не воют, а дать себя убить – пожалуйста.

– Кем проповедовался морганизм?

Началось, думаю, самое главное, и вспомнил, как Влада Юрьевна говорила: «Что было бы, Николай, если бы дядя Вася в морге рыдал над каждым трупом?» С ходу стемнил.

– Что это за штука, морганизм?

– Вам этого лучше не знать. Кто с уважением отзывался о космополитах?

– Кто это такие? Первый раз слышу.

– Выродки! Люди, для которых не существует границ.

Пиздец, думаю, надо будет предупредить международно-го урку вечером.

– Сколько часов длился ваш рабочий день и сколько спирта вы получали за свою трудовую деятельность?

Ну, думаю, пора принимать меры. Косить надо. Затрясся я, надулся до синевы, подбегаю к другому концу стола – и хуяк в рыло замдиректору полную чернильницу чернил. А она в виде глобуса сделана. Хуяк, значит, – и в эпилепсию. Упал, рычу, пену пускаю. Ногами колочу, начкадрами по яйцам заехал, кто-то орет:

– Язык ему надо убрать, задохнется, зубы быстрее разо-

жмите чем-нибудь железным!

Кто-то сует мне между зубов часы карманные. Я челюстью двинул, они и тикать перестали. Глазами вращаю бессмысленно. Эпилепсия – первый класс по Малому театру. Перестарался, подлюга, затылком ебнулся об ножку стола и начал затихать постепенно. А они вокруг меня держат совет, чтобы сор из избы не выносить, Западу пищу не давать. «Скорую помощь» вызвали.

– Этого я никогда не ожидал от своей бывшей жены, – сказал замдиректора – вся рожа и рубашка в чернилах, – хотя о ее связи с Кимзой догадывался. Она просто мелкая извращенка. С сегодняшнего дня мы разведены.

Ну уж тут я чуть не вскочил с пола, однако сдержался. А «скорая помощь» – ее за смертью, сволочь, посылать – все не едет. Я опять забился, потом притих и говорю: «Воды-ы! Где я?» Отплевываюсь сам почему-то чернилами, с губы пена фиолетовая капает, шатаюсь с понтом, все болит. Мне говорят, чтобы не нервничал, работу обещали подыскать, воды подали, на Кимзу заявление просили сочинить и вспомнить, приносил ли он на опыты фотоаппарат. «Скорая» так и не приехала. В общем, они перебздели из-за меня.

Я только вышел из института, беру такси и рву к дому Влады Юрьевны. В голове стучит, ни хуя себе уха!.. Евонная жена она... ни хуя себе уха... ах ты, сука очкастая! И жалко мне, что чернильница была глобусом, а Земля наша не квадратная. В темечко бы ему до самого гипоталамуса, гнида, острым краем. Таковую парашу пустить про лучшую из женщин! «Мелкая извращенка!»

Подъезжаю, блядский род, к ее дому, шефу говорю: «Стой и жди». Сам квартиру нашел, звоню. Открывает она, Влада Юрьевна, слава тебе, Господи!

– Николай, почему у вас все лицо в чернилах?

– Ваш муж бывший допрашивал. Но я не раскололся и никого не продал.

– Ах, он успел публично отказаться от менделистки-морганистки? Заходите. Собственно, я сама ухожу. Уже собрала вещи.

Короче говоря, тут уж я не таился и говорю:

– Едемте ко мне, не думайте ничего такого, я один живу, могу и у приятеля поошиваться, а вы будьте как дома.

– Едемте, – отвечает, – но ведь вы с Толей в одной квартире живете...

– Ну и что? – кричу и чемодан беру уже за глотку.

Жил я тогда один. Тетку мою месяцев шесть как захому-

тали. Ее, если помнишь, паспортный стол ебал, она и устраивала через него прописки. За деньгу большую. И погорела. Один прописанный шпионом оказался. А эти падлы не то что мы, которые всю дорогу в неосознанке. Раскололся и тетку продал. Дедка за репку, бабка за папку. Тетка продала своего, тот разговорился. Трясанули яблоньку, и всех, кого они прописали, выселять начали. Между прочим, тетке я кешари каждый месяц шлю и деньгами тоже. Хуй – в беде оставляю. Значит, едем мы в такси, она мне ваткой чернила на ебальнике вытирает, а у меня стоит от счастья, никто еще за чистотой моей не следил. Никогда. Любили меня неумытого на сплошных раскладушках. Романтиком я был. Всегда в пути, как сейчас говорят. И оказывается, Влада Юрьевна еще до войны студентами крутила с Кимзой роман. Но целку до диплома он ей ломать не хотел. Так я понял. Тут война. Кимзу куда-то в секретный ящик загнали, бомбу делать или еще что-то. Года через два появляется он весь облученный от муде до глаз, и, сам понимаешь, на такую пиписку только окуньков в проруби ловить, и то не клюнет. Трагедия. Хотели оба травиться. А Молодин, замдиректора, уговорил как-то Владу Юрьевну. Хули, действительно, вешаться? И Кимза ей согласие дал. Она мне зачем рассказала-то? Чтобы я с ним был вежливый и сожалительный. Чтобы матом не ругался. Она бы в его комнате жила, но боится, Кимза запьет от тоски, что с ним уже случилось. Приехали. Сгрузили вещишки. Я и рассудил, как проводник: надо спускать на тор-

мозах. Взял бельишко и говорю Владе Юрьевне:

– Поживу у кирюхи, а вы тут не стесняйтесь: за все уплачено. – И пошел к международному урке.

Спиртяги взял. Лабораторию прикрыли. Завтра не драть. Можно и нажраться. Выпили. Предупредил я его, чтобы поосторожнее рассказывал, как за границу перепрыгивал до тридцатого года в экспрессах. А то космополитизм пришьют. И бедный мой урка международный совсем до слез приуныл. Он же, говорит, три языка знает и четыре «фени». Польский, немецкий и финляндский. Правда, на них его только полиция понимает и проституция, но и так бы он Родине сгодился чертежи какие пиздануть из сейфа у Форда или дипломата молотнуть за все ланцы и ноты дипломатические. Ты знаешь, лох, говорит урка, сколько я посольств перемолотил за границей? В Берлине брал греческое и японское, в Праге, сукой мне быть, – немецкое и чехословацкое. Но в Москве – ни-ни! Только за границей. Я ведь что заметил: когда прием и общая гужовка, эти послы, ровно дети, становятся доверчивыми. В Берлине я с Феденькой-эмигрантом – он шоферил у Круппа – подъезжал к посольству на «мерседесе-бенчике». На мне смокинг и котел, чин чинарем. Вхожу, говорит урка, по коврам в темных тапочках на лесенку, по запаху канаю в залу, где закуски стоят. Самое главное в нашей работе – это пересилить аппетит и тягу выпить. А послы мечут за обе щеки. На столе поросята жареные, колбасы отдельной – до хуя, в блюдах фазаны ле-

жат, все в перьях цветных, век мне свободы не видать, говорит, если не веришь. Попробуй тут удержишься – слюни, как у верблюда, текут, живот подводит... В Берлине вшивенько тогда с бациллой было. Все больше черный да черствый. Но работа есть работа – просто так щипать⁹ я и в Москве мог. Выбираю посла с шеей покрасней и толстого. Худого уделать трудно, он, как необъезженный, вздрагивает, если прикоснешься, и глаза косит, тварь. Выбираю я его, с красной шеей, в тот момент, когда он косточку обглаживает поросычью или же от фазана. Обглаживает, стонет, вроде кончает от удовольствия, глаза под хрустальную люстру вываливает, падаль. Объяви ты его родному государству войну – не оторвется от косточки. Тут-то я, говорит урка, левой вежливо за шампанским тянусь, а правой беру рыжие часы или лопатник с валютой. Куда там! Исключительно занят косточкой. Теперь вся воля нужна, чтобы отвалить от стола с бациллой. Отваливаю. Феденька уже кнокает меня у подъезда. Подает шестерка котелок. Я по-немецки выучил, трекаю – себя называю. Другой шестерка орет: «Машину статс-секретаря посольства Козолупии!» Феденька выруливает, и мы солидно рвем ужинать. Нагло работали. Кому я мешал? Я же враждебную дипломатию подрывал и даже не закусывал. И запел урка: «На границе тучи ходят хмуро». А я сижу, слушаю и забываюсь. Подольше бы говорил. Посоветовал ему в Чека написать, попроситься. Он говорит, что уже написал и ответ

⁹ Быть карманником.

пришел: ждать, когда вызовут. Я ему не поверил. Что такое морганизм, спрашиваю, знаешь? И рассказываю, как мне его пришить хотели. Международный урка загорелся с ходу, забыл свои посольства и экспрессы, пошли, говорит, возьмем их с поличным! Пошли в морг! А во мне такая любовь и тоска, что я согласился. Поддали для душка и тронулись. Морг этот за нашим институтом во дворе находился. Дача зимняя. Окна до половины, как в бане, белилами замазаны. Свет дневной какой-то бескровный горит – в трех с краю. Встали мы на цыпочки и давай косяка давить. Никого нет, кроме покойников. Лежат они голые, трупов шесть, и с ихних бетонных кроватей вода капает. Обмывали. А в проходе шланг черный змеей из стороны в сторону вертухается – вода из него хлещет. Дядя Вася, видать, выключить забыл. Не поймешь – где баба, где мужик, да и все равно это. Ноги у меня подкосились от страха и слабости. Ничего нет страшней для меня, карманника, когда человек голый и нет на нем карманов. На пляже я не знаю, куда руки девать. В бане, блядь, особенно безработицу чувствую. Но там хоть голые, без карманов, но живые, а тут мертвые. Полный пессимизм. А международный урка прилип к окну – не оторвешь. Прижег я ему голяшку сигаретой – сразу оторвался, разьебай. Хули, говорю, подъезд раскрыл, нет тут ни хуя интересного. А он уперся, что, мол, наоборот. И что как угодно он может себя представить и в Монте-Карло, где он ухитрился спиздить у крупье лопаточку, что деньги гребет, – на хера ее только пиз-

дить, неизвестно, – в спальней посла Японии в Копенгагене, и в Касабланке, где он на спор целый бордель переебал, девятнадцать палок кинул, пять долларов выиграл, и в Карлсбаде в тазике с грязью, ну где хочешь, там он и может себя представить. А в морге, говорит, век мне свободы не видать, изрубить мне залупу на царском пяточке в мелкие кусочки, не могу – и все. Вот загадка! Смотрю и не могу. И лучше не надо. Эту границу никогда не поздно перейти. А пока хули унывать!

Еще поддали... Сидим в кустах, как лунатики, и поддаем. Я и плакать тогда начал, ковыряю в дупле спичкой и реву, сукоедина, как гудок фабрики имени Фрунзе. Международный урка думает, что я трупов перебздел, нервишки не выдержали, а у меня одно на уме. «Я, – говорю, – смерть ебу, понял?» – «Ты-то, – говорит урка, – ее ебешь, а она с тебя не слазит, мослами пришпоривает!» Тут я не выдержал и раскололся урке, что мою малофейку без моей помощи перевели в организм Владе Юрьевне и попала она впервые в историю. Как быть? Может, ковырнуть, а я уж сам по новой накачаю? Или идти в роддом с кешарем и букет из ЦПКиО спиздить? Как я дитя на руки возьму и баюкать буду? У меня, чую, компас неполноценности начинает вздрагивать. Зачем это они выдумали, бляди, разве не смог бы я просто так палку кинуть? Со своей-то злой малофейкой? И чего оргазму пропадать? Я, сучий мир, еще, слава богу, не машина, и муде у меня сварное, а не на гайках. Правильно, думаю, Молодин-зам-

директора ломиком пиздятину искусственную раскурочил, одно мокрое место от нее осталось – ебанный нейтронами Николай Николаич. Обидно мне. Как быть? Урка слушает, хочет. Такой прецедент был, говорит, у нас в Воркуте. Один фраер пятерку волок, год остался, приезжает к нему баба на свидание с пацаном-двухлеткой. Он ее с вахты вытолкал и разгонять начал. «Падла, такая-сякая, проститутка, меня тут исправляют, а ты ебешься с кем попало, алиментов захотела, шантажистка!» Тут даже опер наш возмутился. «Такая нахаловка, – говорит, – товарищ Ляпина, у нас не прохазает. Мы на стороне заключенных, а личных свиданий у вас не было ни одной палки, потому что муж ваш фашистская сволочь, картежник, отказник и саботажник. Идите на хуй, откуда явились!» Баба – в слезу. Доказывает: приходил Ляпин в командировку, пилил и слова говорил. А Ляпин кричит: «Конвой! Бей по ней прямой наводкой! Пускай, сука, проверяет деньги, не отходя от кассы! Шантаж!» С тем баба и уехала. А ведь Ляпин, сволочь, в побег по натуре ходил. Я один знал. Нас тогда не считали даже. Мороз сорок пять градусов, жрать нехуя и убежать некуда. А Ляпин бегал. И все с концами. Наебется, как паук, и обратно чешет. Талант громадный был. Из Майданека бегал, не то что с Воркуты. Я, говорит, поебаться бегу, так как дровичь не уважаю из принципа. Такого человека любая разведка разорвала бы на части. Я говно по сравнению с ним.

Много еще чего натрекали мы с уркой друг другу. В морг

так никто не приходил похариться.

По утрянке заваливаюсь домой... Ты пей, кирюха, скоро конец, самое интересное начинается, а я поссать сбегая. Ладно, иди ты первый. Я постарше – потерплю. Ну вот. Ведь правда, скажи ты мне, как хорошо, если ссышь и не щиплет с резью, если, к примеру, жрешь и запором не мучаешься, принесет баба с похмелья кружку воды, а ты ей в ножки кланяешься и, блядью мне быть, не знаешь, что лучше – вода или баба. И она загадка, и вода – тоже. Ведь ее Господь Бог по молекуле собирал да по атому – два водорода, один кислород. А если лишний какой, то пиздец – уже не опохмелишься. Чудо! Или воздух возьми. Ты об нем когда думаешь? Вот и главное. «Хули думать, если его не видно». А в нем каких газов только нет! Навалом. И все прозрачные, чтобы ты, болван, дальше носа своего смотреть мог, тварь ты, Творцу нашему неблагодарная, жопа близорукая. «Не видно!» Вот и нужно, чтобы нам, людям, думать побольше о том, чего не видно. О воздухе, о воде, о любви и о смерти. Тогда и жить будем радостно и благодарно. Не жизнь, чтоб мне сгнить, а сплошная амнистия!.. Заваливаюсь по утрянке домой, а Влада Юрьевна лежит бледная на моем диван-кровати. Рядом – Кимза, пульс щупает. Что такое? Выкидыш. Не удержался Николай Николаич, не видать Кимзе мирового рекорда для своей науки. На нервной почве все получилось. Замдирек-

тора Молодин додул, что у Кимзы она, и прикандехал с повинной. Для служебного положения он, видишь ли, не мог не разводиться. А жить, мол, можно и так. Ебаться, в смысле. Не то пригрозил донести, что развращает в половых извращениях недоразвитого уголовника, то есть меня, и через меня же вырастить для космоса миллион низколобых задумала с Кимзой. Так я понял. Кимза головой его в живот боднул и теткиной спринцовкой отхерачил. Влада Юрьевна и выкинула, когда мы с уркой надрались у морга. Я за ней, как за родной, шестерил. Икры тогда еще до хера в магазинах было и крабов. Я утром проедуся на «Букашке» – и в Елисейевский, купить что-нибудь побациллистей. Ночью по два раза парашу ее выносил в галюн. Ведь по нашему большому коридору ходить опасно было. Сосед Аркан Иваныч Жаме к бабам приставал, через ванную в окошко заглядывал, но трогать не трогал. Стебанутый был на сексуальной почве. Подслушивал, как ссут, и подсматривал. Он же и стучал участковому, что в квартире творится. Особенно на Кимзу. Как он в галюне хохочет над чем-то. И Кимзу в Чека дергали. А Кимза сказал:

– Смешно мне, гражданин начальник, оттого, что я человек, царь природы, разум у меня мировой, и вынужден, однако, сидеть в коммунальном сортире и срать, как орангутанг какой-нибудь.

Отбрил, в общем, Чека. Короче говоря, выходил я Владу Юрьевну. Ходить уже начала, а я-то сколько уж сижу на го-

лодной птюхе, надrochenный на работе и наебанный в гостях. Веришь, яйцо одно неделю ломило и распухло. Я пошел в одну гостиницу, гранд-отель, помацать, что с ним. Там в прихожей зеркало было во весь рост. Подхожу, вынимаю, и, ебит твою мать, цветное кино! Яйцо-то мое все серо-буро-малиновое. Тут швейцар подбежал – седая борода и нос, что мое яйцо. Шипит в ухо, в бок тычет:

– Рыло! Гадина! Разъебай! На три года захотел? Запахивай! Франция, эвона, на тебя смотрит!

Гляжу, а на лестнице бабуса стоит, наштукатурилась, аж щеки обвисли, и, ебало раскрывши, за мной наблюдает, фотоаппарат наводит. Швейцар под мышку меня и на выход. Все еще шипит:

– Деревня хуева! Ты бы лучше в музей сходил! Для того ли в Москву приехал!

Я у него за такие речуги червонец из скулы взял и ему же на чай дал. Залыбился, гнида.

– Заходите, – говорит, – дорогие гости, всегда рады!..

Вот какое состояние у меня было. Но характер имею такой: решение принимаю, когда пора хуй к виску ставить и кончать существование самоубийством. Кемарил я на полу. Один раз не выдержал, рву кальсоны на мелкие кусочки, мосты за собой сжигаю. Встал на колени, голову в ее одеяло и говорю: не могу пытку такую терпеть – или помилуйте, или кастрируйте. И что она мне отвечает? Не удивилась даже. Что ей отдаться не жалко, только ничего не выйдет. Она –

фригидная... Не путай, муило, с рыбой фри... И кончать, мол, не может. Ей все равно. Так и с замдиректором жила, и если он залазил на нее – только рыло воротила и брезговала. Но муж есть муж, хоть и залазил он раз в месяц. Стою на коленях, уткнувши лицо в ее одеяло, и дрожу. А она говорит:

– Вам, Николай, лучше с рыбой переспать, чем со мной. Такая женщина, как я, для мужчины – одно оскорбление. Только не думайте, что жалко. Пожалуйста, ложитесь, снимайте тапочки.

Ну, думаю, Коля-Николай, никак нельзя тебе жидко обоссаться, никак... Ух, давай выпьем!.. Как сейчас многого не помню. Не до разглядываний было, разглаживаний и засосов. Не помню, как начал, только пилил и урку международного вспоминал. Тот учил меня, что каждая баба вроде спящей царевны, и нужно так шарахнуть членом по ее хрустальному гробику, чтобы он на мелкие кусочки разбился и один кусочек-осколочек у бабы в сердце застрял, а другой у тебя в залупе задумался. Взял себя в руки. И чую вдруг такую ебитскую силу, что забиваю не то чтобы серебряным молоточком, а изумрудной кувалдой заветную палочку. И что не хуй у меня, а целый лазер. И веришь, что не двое нас чую, а кто-то третий, не я и не она, но с другой стороны – мы же сами и есть. Ужас, кошмар, я тебе скажу, – было страшно. Вдруг отскочит мой единственный от ее хрустального гроби-ка и не совладает с фригидностью? Чтоб она домоуправшу нашу прохватила, падаль. Как сейчас многого не помню, но

додул все ж таки, что не долбить надо, как отбойным молотком, а тонко изобретать. Видал в подарках Сталину китайское яйцо? А в нем другое, а в другом еще штук десять. И все разные, красивые и нигде не треснутые. Видал. Так вот, додул я, что пилить Владу Юрьевну надо ювелирно. А она и в натуре, как рыба, дышит ровно, без удовольствия. «Вот видите, – говорит, – Николай, вот видите?» И я чуть не плачу над спящей царевной, но резак мой не падает. Век буду его за это уважать и по возможности делать приятное. Отчаялся уж совсем в сардельку, блядь. И вдруг что я слышу и чую!

– О Николай! Этого не может быть! Этого не может быть! Не может быть, не может! – И все громче и громче, и дышит, как паровоз ФД на подъеме, и не замолкает ни на секундочку. – Коля, родной, не может этого быть! Ты слышишь, не может!

А я из последних сил рубаю, как дрова в кино «Коммунист». Посмотри его, посмотри обязательно, кирюха ты мой. За всех мужиков Земли и прочих обитаемых миров рубаю и рубаю, и в ушко ей шепчу, Владе Юрьевне: «Может, может, может!» И вдруг она в губы впилась мне и закричала: «Не-е-ет!» В этот момент я – с копыт. Очухиваюсь – у нее глаза закрыты, бледная, щеки горят, лет на десять помолодела. Она на столько старше меня. Лежит в обмороке. Я перебздел – вроде и не дышит. Слезаю и бегу в чем был за водой на кухню, забыл, что без кальсон, и налетаю на Аркан Иваныча Жаме в коридоре. Прямо мокрым хером огулял его сзади,

стукача позорного. Он – в хипеж: «Посажу, уголовная харя, ничтожество!» Это я-то ничтожество, который женщину от вечного холода спасал? Я ему еще поджопника врезал. Завтра, говорю, по утрянке потолкуем. Прибегаю с водой, тряпочку на лоб и ватку с нашатырем. И тут открывает она глаза, и смотрит, и не узнает. Вроде ты мне родной, говорит. Я лег рядом, обнял Владу Юрьевну и думаю: пиздец, теперь только ядерная заваруха может нас разлучить, а никакое другое стихийное бедствие, включая мое горение на трамвае «Аннушка» или троллейбусе «Букашка». Утром приходит к нам Кимза с бутылкой в руке, пьяный, рыдает, целует меня и альтерэгой называет, хохочет. Я вышел. Оставил его с Владой Юрьевной. Они поговорили – он с тех пор успокоился. Но по пьянке альтерэгой все равно называет.

Живем. Все хорошо. У замдиректора я два раза всю получку уводил. Кимза микроскоп домой притаранил, с реактивами всякими – опыты продолжать. «Наука, – говорит, – не пешеход, и ее свистком хуй остановишь. Придется тебе, Николай, драть хоть изредка, чтобы нам время не терять».

– Платить, – спрашиваю, – кто будет? МОПР?

– Продержимся, – говорит Влада Юрьевна, – а сперма нам необходима хоть раз в неделю.

Ну мне ее не жалко. Чего-чего, а этого добра хватало на все. Про любовь я тебе пока помолчу. Да и не запомнишь ее никак. Поэтому человек и ебаться старается почаще, чтобы вспомнить, чтобы тряснуло еще раз по мозгам с искрой.

Одно скажу, каждую ночь, а поначалу и днем, мы оба с копыта летали, и кто первый шнифтом заворачивает, тот другому ватку с нашатырем под нос совал. А как прочухиваюсь, так спрашиваю:

– Ну как, Влада Юрьевна, может это быть?

– Нет, – говорит, – не может. Это не для людей такое прекрасное мгновение, и, пожалуйста, не говори отвратительного слова «кончай», когда имеешь дело с бесконечностью. Как будто призываешь меня убить кого-то.

А я говорю: тут бабушка надвое сказала – или убить, или родить. О чем мы еще говорили – тебе знать нехера. Интимности это.

А время идет... Уже морганистов разоблачили, космополитов по рогам двинули, Лысенко орден получил. Кимза пенсию отхлопотал. Влада Юрьевна старшей сестрой в Склифосовского поступила, я туда санитаром пошел. Тяжелые времена были. На «Букашке» меня, как рысь, обложили, на «Аннушке» слух пошел, что карманник-невидимка объявился. Сам слышал, как один хер моржовый смеялся, что, мол, если я невидимка, то и деньжата наши тоже невидимыми заделались. Плохо все. Еще Аркан Иваныч Жаме шкодить стал. Заявление тиснул, что Влада Юрьевна без прописки и цветет в квартире половой бандитизм, по ночам с обнаженными членами бегают. Вот блядище! А тронуть его нельзя – посадят! Я б его до самой сраки расколочил, а там бы он сам рассыпался. По утрянке выбегает на кухню с газетами и вслух политику хакает:

– Латинская Америка бурлит, Греция бурлит, Индонезия бурлит! – А сам дрожит от такого бурления, вот-вот кончит, сукоедина мизерная. – Кризис мировой капиталистической системы, слышите, Николай! – А сам каждый день по две новых бабы водит. Он парикмахер был дамский.

И вот из-за него, гадины, меня дернули на Петровку, тридцать восемь. Майор говорит:

– Признавайся с ходу – занимаешься онанизмом?

Первый раз в жизни иду в сознанку.

– Занимаюсь. Только статьи такой нет – кодекс наизусть знаем.

У него шнифты на лоб:

– Зачем?

– Привык, – говорю, – с двенадцати лет по тюрьмам оши-
ваюсь.

– Есть сигнал, что в микроскоп ее рассматриваете с сосе-
дом.

– Рассматриваем.

– Зачем, с какой целью?

– Интересно, – говорю. – Сами-то видали хоть раз?

– Тут, – говорит, – я допрашиваю. Чего же в ней интерес-
ного?

– Приходи, – приглашаю, – покнокаешь.

Задумался.

Отпустил в конце концов. Все равно бы ему на мой арест санкции не дали. А тебе, Аркан Иванович Жаме, думаю, я такие заячьи уши приделаю, что ты у меня будешь жопой мыльные пузыри пускать с балкона. Дай только срок. Я тебе побурлю вместе с Индонезией!

Работали мы с Владой Юрьевной в одну смену. Таскаю носилки, иногда на «скорой» езжу. И что-то начало происходить со мной. Совсем воровать перестал. Не могу – и все. Заболел, что ли. Или апатия заебла. Не усеку никак. Потом усек. Мне людей стало жалко, такие же, вроде меня, двуно-

гие. Ведь чего только я не насмотрелся из-за этих людей! Видал и резаных, и простреленных, и ебнутых с девятого этажа, и кислотой облитых, и с сотрясением мозгов... А один мудака кисточку для бритья проглотил, другой бутылку съел – четвертинку, третий сказал бабе: «Будешь блядовать – ноги из жопы выдерну». И выдрал одну, другую – соседи не дали. Я ее на носилках нес. А под машины как попадает наш брат и политуру жрет с одеколоном. До слепоты ведь! А тонет сколько по пьянке, а обвариваются! Ебитская сила, такие людям мучения! И вот, допустим, думаю я, если человеку так перепадает, что и режут его, и печенки отбивают, и бритвой моют по глазам, и из жопы ноги выдергивают, то что же я, тварь позорная, пропадло с бельмом, еще и обворываю человека? Не может так продолжаться! Завязал. Полегчало. Даже в баню стал ходить. А Аркан Иваныч Жаме вдруг заболел воспалением легких. Попросил Владу Юрьевну за деньги уколы колоть и целый курс витаминов. И тут я сообразил, что делать надо. Уколы я сам к тому времени насобачился ставить. Надо сказать откровенно, кирюха, Аркан Иваныч Жаме был уродина человеческая. Весь в волосы рыжей, сивой и густой, от пяток до ушей. Уколы на жопе не сделаешь. Пришлось брить. Уж я его помучил без намыливания, поскреб, лежи, говорю, не бурли. По биологии я уже кое-что петрил и сообразил: вот кто половой бандюга, а совсем не я. Слишком много силы в яйцах у Аркан Иваныча Жаме. Слишком много! Оттого ты, сука, и в парикмахе-

ры женские подался и подкнукиваешь, как соседи законные половое сношение совершают, гуммозник прокаженный, и по две бабы непричесанных приводишь и политику хаваешь, чуть не кончаешь, когда колонии бурлят, тварь. Гормона в тебе до хуя лишнего, чирей. Короче говоря, достал я препарата тестостерона или еще какого-то и целый месяц колол Аркан Иваныча Жаме. Препарат же тот постепенно мужика в бабу превращает без всякого понта. Наблюдения веду. Смотрю, у моего Аркан Иваныча Жаме движения помягче стали, мурлычет чего-то, в почтовый ящик третий день не лазит, сволочь, и по телефону не рычит, как раньше, а плешь бритая на жопе не зарастает, гормон на волосню, значит, подействовал.

– Коленька, кисуля, – просит, – побрей меня всего, хочу быть наконец голый.

– Ну уж это я ебу, – говорю, – бесплатно тебя брить.

– Я заплачу, не постою.

– Двести рублей.

Дает. Три тюбика мыльной пасты выдавил на него, две пачки лезвий на него потратил. Побрил. Раз завязал и не во-рую, то и так не грех зарабатывать копейку. Поправляться стал Аркан Иваныч Жаме. Лицом побелел, в бедре раздался, ходит по коридору, плечами, как проститутка, поводит, глаза прищуривает, перерожденец сраный. Картошку чистит и поет: «Я вся горю, не пойму от чего-о-о». Даже страшно. Стал я в кодексе рыться, статью такую искать за переделку

мужика в бабу. Не нашел. Решил, что подведут под тяжелые телесные. А он меня уже клеить начал: потри спинку своей рукой и массаж заделай, плачу по высшей таксе. Тысяч пять старыми я верняком содрал с него. Один раз ночью подстерег в коридоре, в муде мое вцепился и в свою комнату тащит. Я ему врезал в глаз, он успокоился. Сейчас из дамской в мужскую парикмахерскую ушел.

А тут Сталин дал дубаря. Пробрался я к международному урке. Он на Пушкинской жил. Свесились из окна, косяка на толпу давим. Ну и народу! У меня руки зачесались, несмотря что завязал. Каша. Один к одному. Я бы в такой каше обогатился, падлой быть, на всю жизнь, дай он дубаря лет на пять пораньше. Для нашего брата карманника раз в сто лет такой фарт выпадает. Урка международный тут и припомнил, как он на Ходынке щипал, царя когда короновали, Николу. Мальчишкой еще был, а на триста рублей золотом наказал фраеров каких-то. Ругал, когда поддали, Сталина. Другой, говорит, камеру бы так держать не смог, как он страну держал. В законе урка был. А у меня, хошь верь, хошь не верь, помацать на него не тянуло. Ты, я вижу, придавить не прочь пару часиков. Ну уж хуюшки! Ты меня, трекалу, подзавел, ты и слушай. Чифирку сейчас заварим. Конец скоро. К нашим дням приближаемся. Но если ты, подлюга, ботало свое распустишь и хоть кому капнешь, что здесь услышал, я, ебать меня в нюх, схавая тебя и анализ кала даже не сделаю. Понял? Пей. Не обижайся. Я же не злой, я нервный, второго такого на земном шаре нема. Отвечаю, блядь, человек, буду, рубь за сто. Вот ты сидишь, пьешь, икорочкой закусываешь, банку крабов сметал, как казенную, а балык и севрюжку уже и за хуй не считаешь. А ведь мне эту бацил-

лу по спецнаряду выдают как важному научному объекту и субъекту. Ну ладно. Будь здоров. Я тебя к дрозофилам строю, к мушкам. Да нет! Эрекцию вызывают другие мушки, шампанские. У нас их пока не разводят. А эрекция, это когда встает, чухно ты темное. Ну откуда же я знаю, почему у тебя встает от шампанского? Что я, Троцкий, что ли? Ну, сука, не дай Господь попасть к такому прокурору, как ты, – за год дело не кончит. До пересылки ноги не дотянешь. Слушай, мизер. Тут – амнистия. Тетка, пишет, закрутила хер в рубашку с надзирателем Юркой. Вышла за зону и стала жить с ним. А Кимзу дернули в академию и говорят: принимай лабораторию, Молодина мы гоним по пизде мешалкой. Ну и ну, как повернул дело Никита! Кимза, конечно, меня и Владу Юрьевну тоже тягает наверх. И тут началась основная моя жизнь. В месяц гребу пятьсот-шестьсот новыми, жопа, а не старыми. Такую цену Кимза на малофейку выбил в банке. Владу Юрьевну я успокоил, что и на нее хватит и еще на два НИИ. А опыты пошли сложные. Лаборатория-то сексологией начала заниматься. Дрочить – это что! Пустяк. На меня приборы стали навешивать, датчики. Места на хую нет свободного. Весь сижу в проводах обвязанный, смотрю на приборы и экраны разные. Как кончаю, на них стрелки бегают и чего-то мигают. Интересно. А Кимза орет: «Внимание – оргазм!» И биотоки записывает. И что он открыл. Что во мне энергия скрыта громадная при оргазме, и если ее, как говорится, приручить, то она почище атомной бомбы поможет

людям в гражданских целях. Понял? Опыты ставили. Только начинает меня забирать, и на рельсах электричка с моторчиком движется. Быстрее все, быстрее, а сначала медленно. Прерываю мастурбацию – электричка стоит как вкопанная. Я по новой – трогаюсь. Ее в «Детском мире» купили. То же, сволочи, нашли что выпускать. А если докумекают, что к чему? Ладно. Докладываю Кимзе: готов к оргазму. Электричка, веришь, чуть с рельсов не сходит, по кругу бежит и останавливается не сразу. Академик тот самый приходил смотреть. Ужаснулся. «Сколько еще, – говорит, – в человеке неоткрытого!» Формулу вывели. Теперь инженеры пускай рогами шевелят. Самое трудное – не растерять эту энергию, понял? Она же, падла, по всему телу разбегается, пропадает в атмосферу и даже в памяти не остается. Хуже плазмы термоядерной.

Академик сказал:

– Продолжайте, дружочки, опыты, человек решит и эту проблему, если ему не будут мешать Лысенки.

Я еще поддакнул и говорю:

– Лысенку давно политанией пора вывести.

– Что за политания? – спрашивает.

– От мандавошек, – говорю, – мазь.

– Что это за тварь?

Объяснил я ему, как мог. Изумился академик.

– В каком говне, – говорит, – ни живет человек, какие звери подлые его ни кусают, а он все к звездам, к звездам, сво-

лочь дерзкая и великолепная!

Я академику в ответ толкую, что если мандавошки одолеют, то не то чтобы к звездам, а и в аптеку залетишь, не постесняешься политании спросить.

Короче, загребать я стал приличный кусок. Что я, блядь, Днепрогэс, что ли, даром энергию отдавать? Если электричка ездит, значит плати уже по совместительству. Ты, кирюха, опять ебало разинул и, конечным делом, думаешь, как эту энергию использовать в военных целях. Ну и что ты надумал? Так. Залегла дивизия в окопы и дрочит, а ток в ключую проволоку бежит, атаку срывает. Так я тебя понял? И все солдаты друг за дружкой соединены последовательно или параллельно. А если замыкание короткое, что тогда? Ни хера не придумал! Выходит, генерал должен искать пробку, которая перегорела, и пока он жучка будет ставить, фашист – тут как тут. И полный пиздец дивизии. Инженер из тебя, как из моей жопы драмкружок. Я вот у академика-старикашки спросил один раз: что будет, если все мужское человечество начнет по команде дрочить и кончит секунда в секунду. Товарищеский, как говорится, оргазм совершит и групповой к тому же. Что будет?

Старикашка добрый говорит:

– Прогнозировать трудно, и для такой высокоритмичной акции требуется величайшая самодисциплина плюс массовое самосознание и, разумеется, ощущение единства цели. Пока мир разделен на два лагеря, это невозможно. Вот ко-

гда, батенька, будет один мир, тогда посмотрим. Тогда и подрочим, ха-ха, как вы изволили подпустить термина. Ежели, мечтатель вы мой, говорить серьезно, то эксперимент в таких глобальных масштабах может кончиться весьма плачевно, так как масса полученного удовольствия будет равна плюс-минус бесконечность.

А ты, кишка слепая, дивизию с пробками задумал. Ведь техника не член, она не стоит на месте ни одной минуты. Половую энергию не вечно будем добывать вручную. Это только в самых отсталых колхозах останется, когда выходит мужичонка поссать в темень-тьмущую, надрачивает свой кожаный движок, а в другой руке фонарик горит, путь-дорогу до сортира освещает. А с крыльца он не ссыт, ибо культура выросла, понял? Мы уже новые опыты начали. Я запросил с них две тысячи аккордом. Ведь угля-то скоро и нефти совсем не будет, на дровах-то до звезд не доберешься, да и тайга, писали давеча, пиздой постепенно накрывается. Какой же опыт, в общих чертах? Заебачивают мне в голову два электрода... Ну и денатурат ты, ебал я твою четырнадцатую хромосому раком! Как же можно захуярить человеку в голову электроды, которыми, по твоим данным, сваривают могильную ограду на Ваганьковом кладбище? Охуел ты совсем или прикидываешься? Я из твоего глупого черепа ночной горшок замастырю, только дырки замажу. Дождешься. Вгоняют мне в затылок два электрода, тоньше волосни они мудяшной и из чистого золотишка сделаны. Сажусь в кресло мягкое,

от электродов провода к прибору тянутся. Кимза командует, чтобы я про футбол думал. Думаю, а у меня стоит, чего ни разу в Лужниках не случилось. И вдруг автоматически чую, забирает меня, уже не до футбола. Кимза орет, чтобы руки мои привязали, и, веришь, спустил. Победа! Это сейчас кажется, что она легко далась нашей лаборатории, а сколько мы мучились. Мне весь череп истыкали, все клетку мозга искали, которая исключительно еблей распоряжается, а найти никак не могли, проститутки. Чего со мной только не было при этом! То ногами мелко дергал, то плакал горько-горько, то ржал как лошадь. Один раз вскочил и как ебнул Кимзу между рог здоровенной клизмой, одних реторт перемолотил штук десять, а Владу Юрьевну поцеловал при всех. Вахтеров вызывали меня связывать. А клетку никак не найдем, вроде бы ее и нет вовсе. Я рацпредложение вношу, что, может, она, эта клетка мозга, не в башке совсем, а в залупе располагается. Обсудили такую гипотезу – не прохазала она. Опять за башку взялись, и под Женский день перекосябило меня. Щека левая до ушей заухмылялась, рука отнялась и нога тоже, а электрод – все у нас в спешке делается – вытащили, а куда ставить – забыли. Тычут-тычут – не попадут по новой. Весь Женский день был я временно разбит параличом, сучий мир. Даже Владу Юрьевну не побаловал, из ложечки меня кормила. А академик Кимзе выговор объявил. Хули делать. После праздника выправили меня. Потом нашли все же ебучую клетку. На расстоянии стали моей психикой

управлять, и академик сказал на закрытом заседании: «Покажу тебя, Николай, коллегам». Запиздячили в меня штук десять электродов, в разные центры чувств, выводят на сцену. Кимза на расстоянии мной управляет. Выступаю неплохо. Смеюсь, плачу, трекаю без умолку, в гнев впадаю и в милость. Вдруг, сухой мне быть, сам того не хотел, расстегиваю мотню, вынимаю шершавого и давай ссать прямо на первый ряд. Хожу по сцене и ссу. Все, думаю, посадят. У нас одному три года влупили за то, что в клубе с балкона партер обоссал. Или выгонят. Кончил ссать, и, веришь, бурные аплодисменты мне ученые закатили, думали – коронный номер экспериментирую. Вскоре машину я купил, катер и полдома на Волге. Рыбачу в отпуске. Самое лучшее в жизни, скажу я тебе, кинуть палку в березняке любимой женщине и забыть к ебени матери науку биологию, в гробу я ее видал в босоножках. Ведь они что теперь задумали. Кимза открыл, что я при оргазме элементарные частицы испускаю или излучаю, хер их разберет, потому что в мозге взрыв огромной силы происходит, почему и в обморок падаем. Хотят меня в магнитную комнату засадить на пятнадцать суток, камера Вильсона она называется. Я было уперся, а Кимза говорит, что, если мы на тебе кварки поймаем, Нобелевская премия обеспечена. Я и согласился. Человек же к любой работе привыкает. Вопросы есть? Урка международный у нас работает: я устроил. Опыты по лечению импотенции на нем делают. Неплохо зарабатывает. Ну что еще? Кварки – это самые простые

частицы, из которых все сделано. В оргазме их и изловим, американцам козью морду заделаем. И это тайна, учти, сука. Потому что страна, которая первой кварки откроет, сможет с ходу весь мир уничтожить и замастурить его заново из тех же самых кварков. Выпьем давай за науку!

Впрочем, стоп! Не хочу я за науку пить. У меня на нее большая душевная обида. Спасибо, конечно, за судьбу встречи с Владой Юрьевной, что воровать я завязал, за достаток, так сказать, и придурочную работенку в нашем соцлагере. Спасибо! Ну а если рубануть правду, нужна она лично мне, эта наука ебучая? Тебе она нужна? Вон по улице бабка полунищая идет, ногу за собой отсохшую волокет. Ей наука нужна? Да! Нужна! Ногооживляющая только наука, а не в жопу электроды вставляющая. Ты вот выскочи для интересу, дай бабке денег немного да скажи: вот, бабка, есть у меня друг. Знаешь, чем на жизнь зарабатывает? В институте секретном... как бы это сказать повежливей?.. Скажи так: пипку свою трясет за уши и сдает вещество, из которого пацанва потом развивается. Беги и скажи. А я посижу и подожду. Наука, скажи, его к тому приговорила. Беги, кирюха! Беги-и-и!

Не отсохли ведь ноги? Что тебе бабка ответила? Не врать. Перепроверю... Правильно ответила. Я и есть дурак. И Бог, надеюсь, меня простит. Может, я и впрямь не ведаю, что я творю? Не могу понять: ведаю я или не ведаю. А понять надо бы до Страшного суда. Он тебе не нарсуд. Там не прикинешься дурачком и не уйдешь в глухую несознанку. Там как примутся тебя раскалывать архангелы – народные заседатели, так от тебя брызги правды во все стороны полетят, чтоб

другим в следующей истории неповадно было. Если встретишь еще эту бабу, поддержи финансами, я тебе верну, и добейся от нее, как быть человеку, если он не дотумкает, ведает он или не ведает, что творит. Спроси. А с другой стороны, чего мучиться мне – темному лесу над рекой, когда наш академик, уж у него-то звезда во лбу горит, сам ни хуя толком не понимает. Я уж трекну тебе напоследок, как мы по душам однажды разговорились. Приляг на софе, как шах персидский, и слушай. Но если перебежешь дурацкими вопросами, я тебя вместе с софой коньяком оболую и подожгу. Софе ничего не будет, а ты попляшешь.

Была у нас в лаборатории лаборантка-стукачка. Стучала, потому что племянницей приходилась начкадрами и в науку мечтала войти впоследствии. А что нужно в наши времена для этого тупому человеку, кроме стукачества? Найти, кирюха, закономерность надо. Без нее ты хоть на папу и маму стучи, ставки тебе после института не видать как своих мозгов. Молчи! Это раньше говорили «как своих ушей». Теперь открыто, что уши можно рассмотреть в зеркало. Попробуй же рассмотри мозги. Не вставай только с софы. Не рвись к зеркалу, дубина... Но как найти закономерность в чем-либо? Поймешь по ходу дела... Девицу ту, лаборантку и стучевилу, звали Поленькой. Телка плоскозадая. Подходит однажды ко мне и говорит:

– Николай Николаевич, я заметила, что некоторые книги влияют на вашу эрекцию хорошо, а другие плохо и отда-

ляют оргазм иногда на пятнадцать-двадцать минут от начала мастурбирования. Помогли бы вы мне опыты провести, чтобы обнаружить закономерность такого явления. У меня какая гипотеза? Ведь что люди имеют в виду, когда говорят про прочитанную книгу, интересна она или неинтересна? Они бессознательно констатируют наличие момента возбуждения высшей нервной деятельности или же торможения в случае отсутствия интереса. Так? Давайте же бросим беспорядочное чтение, чтобы все было по Павлову. Я вам могу приплачивать за участие в опыте. Список литературы составлен. Как?

– Валяйте, – говорю. – Книжки я читать полюбил, но говна среди них много. Верно, что тормозят.

– У вас, Николай Николаевич, член ужасно чуткий к феномену эстетического. Я такой первый раз встречаю.

– А много ты их вообще встречала? – Я залыбился.

– Только договоримся не беседовать на темы, не имеющие отношения к опыту, – обиделась Поленька.

– Хорошо. С чего начнем?

– Мне очень нравятся книги Ю. Германа о чекистах. С детства люблю их. Волнительные книги. Вот роман о Феликсе Эдмундовиче. Я прикреплю к члену датчики. Температурный и кинетический. Ваше дело – читать и ждать эрекции.

– Мешают мне датчики, – говорю.

– Без датчиков нельзя. Мне необходима графическая за-

пись всех показаний.

– Ладно. Давай сюда своего Германа с чекистами.

Разговор этот, кирюха, происходил у нас перед одним ответственным опытом. Кимзе пришло через директора института и партком распоряжение из ЦК партии, чуть не от самого Суслова. Осеменить во что бы то ни стало жену то ли шведского какого-то влиятельного политика из социал-демократов, то ли американского миллиардера – большого друга Советского Союза. Забыл. Это Кимза мне объяснял. В ЦК, пронюхав про наши Никитой реабилитированные опыты, решили нагреть на них руки. Валюта-то нужна. Где ее брать на то на се, и компартии иностранные к тому же, как птенцы в гнездах сидят, жрать хотят и клювы раскрывают. Шевели, выходит, хуем своим двужильным, Николай Николаевич, осеменяй. Космос обслуживай! Давай сведения для лечения импотенции физиков-ядерщиков и секретарей обкомов.

В общем, приводят в лабораторию жену шведского социал-демократа или американского друга, не помню. Сажают в спецкресло и мне велят начинать. Лаборатория уже предусмотрена. При команде «Внимание – оргазм» все занимают свои места, осеменяемая Советским Союзом расслабляется, улыбается, вырубить голос Левитана, прекратить шуточки, вытереть руки, ходить на цирлах, сознавать ответственность момента.

Представляешь, кирюха. Шведская дама там расслабляет-

ся-улыбается, к осеменению блаженно готовится, лаборантки стоят по стойке смирно у ее отворенного чрева, друг Советского Союза внизу, небось, в фойе нервно букет роз тербит, а я тут с проклятыми «ангелочками»-чекистами мешаю! Страх меня взял. За осеменением из ЦК наблюдают. Сам Суслов давит косяка. Госбанк уже валюту считать приготовился. Того и гляди, думаю, дернут тебя, Коля, за саботаж на Лубянку. Нажимаю кнопку. Входят Кимза и Поленька. Влады Юрьевны в тот день не было. Ее в Академию наук вызвали.

– Осечка, – говорю Кимзе. – Не стоит у меня.

– Ты о чем думаешь на работе? – шипит он.

– О Гражданской, – отвечаю правдиво, – войне и красном терроре.

– Осел! Всех нас под монастырь подводишь! Начинай снова. Думай, черт бы тебя побрал с твоими думами, о чем-нибудь более приятном. – Тут Кимза взглянул на Поленьку и поправился. – О чем-нибудь то есть менее значительном, о балете на льду, например, «Снежная фантазия».

– Лед, – говорю, – не возбуждает меня. Снег тоже.

– Тогда о женской бане думай! Ты понимаешь, какой сейчас ответственный момент? Нам лабораторию могут ликвидировать на хер! Представь, что ты банщиком в женской бане работаешь!

– Хорошо, не шипи только, – говорю.

– Быстро давай!

– Быстро, – отвечаю, – Тузики и Бобики кончают, а я – человек! Советский причем. У меня нервы исторически издерганы.

– Начитался, балбес, книг. Приступай к делу!

Ушел Кимза. Поленька ни жива ни мертва. Благодарит, что не продал, и сует мне рассказы Мопассана.

– Вот этот, – говорит, – читайте, он очень интересный.

Веришь, кирюха? Встал, как пожарная кишка на морозе, не разогнешь. Встал на первой же странице, а я читаю быстро. Бывало следовательно целый месяц дело пишет и днем и ночью, а я его за десять минут вычитываю и подписываю. Читаю, значит, Мопассана, толком ничего не понимаю, но чувствую, дело к ебле идет по сюжету. Муж уехал на один день в командировку и велел Жаннете не скучать без него. Она была круглая дура и послушная жена, раз велел Морис не скучать, подумала она, то я и не буду. Я его люблю и не могу послушаться. А по улице в это время шел трубочист. Она и говорит ласково, перегнувшись из окошка так, что сиськи чуть не выпали на парижскую улицу:

– Милый Пьер, зайдите ко мне прочистить трубу.

Ну Пьер, такая уж у него работа, зашел и прочистил. И вот, кирюха, какой замечательный писатель Мопассан! Я ни о чем не догадался, пока муж не приехал из командировки. Он приехал и говорит утром жене Жаннете:

– Жаннета, я весь вплоть до нашего милого дружка вымазан в черном. Что это? – Она хоть и дура была, но нашлась.

В такие минуты дураков нет, кирюха.

— А не спал ли ты, мой котенок, с прелестной негрityнч-кой?

Ох и похохотали они тогда над ее шуткой, за животы держались, и Морис снова полез на жену Жаннету. А когда, очень довольный собой, он уходил на службу, то сказал:

— Пожалуйста, птичка, пригласи трубочиста. У нас труба не в порядке.

На этом рассказ кончался, к сожалению. Но я был в форме. Беру в другую руку пробирку и уже слышу, как Кимза орет: «Внимание – оргазм!»

И что ты думаешь? Попала от меня та дамочка. Мгновенно попала. Распорядился мой Николай Николаич в ее фаллопиевой трубе. Благополучно родила у нас же в клинике. Я видел мальчика. Симпатяга. Теперь ему двадцать лет. Беда только, что ворует. По карманам лазит, несмотря на богатых папу и маму. В меня пошел. Это мне Кимза рассказывал. Может, и шутит. Но из того, что шведские социал-демократы боятся связываться с нашими диссидентами, я пришел к выводу, что та дамочка была не американка. Рассудил логически.

Вот Поленька тогда сообразила, что к чему, и стала подсовывать мне на опытах то одну книжечку, то другую. Чего я только не перечитал, кирюха, за целый год эксперимента! Поленька набрала столько данных, что разобраться в них не могла, а об вывести закономерность без научного руково-

дителя уже и речи не было. Не тянула она на это. Ну и рассказала о своей работе академику нашему со списком прочитанных книг. Там было три графы: «Встает», «Наполовину», «Эрекция отсутствует». В первую графу, раз уж ты интересуешься, попали следующие авторы и книги: «Охотничьи рассказы» Тургенева, «Вий» и «Майская ночь» Гоголя, «Отелло», где негр ревновал. «Золотой осел», там все про еблю. «Как закалялась сталь». «Три мушкетера». «Обломов». «Муха-Цокотуха», меня там возбуждало, как паучок муху в уголок поволок. «Любовь к жизни» Джека Лондона, которого Ленин любил. «Наполеон» академика какого-то. «Степь» Чехова. Стихи Пушкина «Мороз и солнце – день чудесный...» и «Сказка о Спящей царевне». «Путешествие на Кон-Тики». «Занимательная астрономия», «Книга о вкусной и здоровой пище», и, вот что странно, кирюха, книжонка царского времени «Как самому починить ботинки» приводила меня в ужасное возбуждение. Я потом долго успокоиться не мог. Помню, приятно было читать «Анну Каренину». Правда, при воспоминании о конце этой книги у меня не то что не встает, а вообще хочется положить хер на рельсу, и пущай проезжает по нему трамвай «Букашка», чтобы покончить разом с этим делом, жаль, что выселили его из Москвы. Помню также «Воспоминания», только не помню чьи. Я все люблю воспоминания и заметил, что люди, которые мне отвратительны, воспоминаний после себя не оставляют, пидары гнойные. Гитлер, например, Сталин, Дзержин-

ский, мой первый следователь Чебурденко, Берия, наш домоуправ Шпоков и другие негодяи. В данных я сам под конец запутался. У меня эрекция начиналась не обязательно от ебливых моментов. Если бы так! А то – нет! Даже Мопассан действовал на меня по-разному. То угнетающе-тормозяще, то доводя до неистовства. Так же и Лев Толстой. Не говорю уж о Достоевском. На что уж там в «Братьях Карамазовых» и в «Идиоте» все с ума от ебли сходят и любви, а я, наоборот, тускнею, задумываюсь, в тоску вхожу. В чем дело? Но стоило взять в руки «Барона Мюнхаузена» – как штык! Всегда готов к бою!

Полусгибался же у меня от книг Катаева, Каверина, Трифонова, Катарини Сусанны Причард, Джеймса Олдриджа, Теодора Драйзера, Анри Барбюса, Максима Горького, «Тихого Дона», Андре Стиля, Луки Мудищева, «Космических будней», журналов «Здоровье» и «Знание – сила». Всех названий не перечислишь. Да и без толку перечислять. Поймешь потом почему. Но вот совершенно не стоял у меня, словно это мочка уха была отмороженная, а не боевой топор, знаешь от чего? Отвечу коротко: от книг, не похожих друг на друга, как день и ночь. От всего соцреализма, его Поленька так называла, и от самых неожиданных книг. Ну что может быть общего, кирюха, между романом «Сибирь» Георгия Маркова и «Дон Кихотом»? Грех даже сравнивать. А у меня не стоял ни от того, ни от другого, хотя от «Сибири» я чуть не сблевал, а от «Дон Кихо-

та» плакал три недели, как маленький, и на работе и дома. Или взять какого-нибудь Закруткина-Семущкина-Прилежаеву-Воскресенскую-Сафронова-Грибачева-Чаковского – не путай этого идиота с «Мухой-Цокотухой» – «Кремлевские куранты» Симонова-Джамбула – всех не перечтешь, и все они на одно лицо, как бы ни старались выебнуться почище. Особенно Симонов. Все они, повторяю, на одно лицо, и стоит, ты уж поверь мне, одолеть страниц двадцать, как чувствуешь, что из тебя клещами душу вытягивают, опустошают тебя, то неумением интересно придумывать, то такой парашей, что глаза на лоб лезут. А главное, все они стараются так прилгать, чтобы казалось нам самим и в ЦК: ох и приличная жизнь в советской нашей стране. Ох и работают на совесть рабочие и крестьяне. Еще смена не кончилась, а они уже вздыхают: скорей бы утро – снова на работу! Парашники гнусные. Меня-то не проведешь за нос: я уже повидал житуху на всех концах СССР. Но хрен с ними. От них и не должен вставать. При чем тут «Дон Кихот», «Путешествия Гулливера», «Капитанская дочка», «Мертвые души» и многие другие книги, вот что было непонятно и удивительно.

Пришлось Поленьке расколоться академику. Он просмотрел данные опытов. Проверил статистику, сам обработал ее. Потом однажды говорит при мне Поленьке:

– Есть у вас научное любопытство. Почему же вы не смогли завернуть резюме? Буду короток. Истинная литература имеет отношение не к члену Николая Николаевича, а к его

духу, хотя ваш подопытный человек феноменально и легко возбудимый. У него даже от двух слов «женский туалет» иногда встает, не то что от Мопассана. Верно, Коля?

У меня фары на лоб полезли от такой догадливости. Что он, следил за мной, думаю, что ли?

– Так что, Поленька, работу вы до конца не довели, закономерности основной не выявили, но вы способны и любопытны и не брезгуете никакими средствами. Вас ожидает чудесная научная карьера. Сами-то литературой интересуетесь?

– Постольку-поскольку, – сказала Поленька.

– Очень скверно. Запомните: к духу человеческому имеет отношение литература, а не к хую Николая Николаевича. А ты, Коля, – говорит старик, – порадовал меня. Не так прост и низок человек, как порою кажется. И в вас, шалопае, есть искра Божья! Есть! – Тут он велел Поленьке удалиться и, главное, не подслушивать нас и продолжал: – Надоела, небось, работенка?

– Да, – отвечаю, – завязывать пора. После «Дон Кихота» и дрочить стало очень трудно и страшно. Чем я, думаю, занимаюсь, когда надо продолжать войну с ветряными мельницами?

– Понимаю тебя, Коля, понимаю. У меня пострашней на душе мука, чем твоя, хотя грех такие муки соизмерять. Ты вот просто дрочишь, пользуясь твоим выражением. А мы все чем занимаемся? Ответь.

– Суходрочкой, что ли? – говорю, не подумав даже как следует, и академик до потолка чуть не подпрыгнул.

– Абсолютно точно! Вот именно, – говорит, – суходрочкой! Су-хо-дроч-кой! Полной, более того, суходрочкой! Вся советская, Коля, и мировая наука – сплошная суходрочка на девяносто процентов! А марксизм-ленинизм? Это же очевидный онанизм. Твоя хоть безобидна, Коля, суходрочка, а сколько крови пролито марксизмом-ленинизмом в одной только его лаборатории, в России? Море! Море, а полезной малофейки – ни капли! Все вокруг суходрочка! Партия дрочит. Правительство онанирует. Наука мастурбирует, и всем кажется, что вот-вот заорет какой-нибудь искалеченный Кимза: «Внимание – оргазм!» – и настанет тогда облегчение, светлое будущее настанет. Коммунизм. А ты подро-чил, побаловался, и хватит. Не погиб в тебе, Коля, человек, как, впрочем, не погиб он от суходрочки советской власти. Придет, надеюсь, пора, и он завяжет, как ты выражаешься, завяжет и займется настоящим делом. Хватит, скажет, дро-чить. Подрочили. Время за живое и достойное дело приниматься, а о суходрочке многолетней, даст Бог, с улыбкой вспоминать будем. Ты чем хотел бы заниматься, кроме она-низма?

Веришь, кирюха, подумал я тогда: ну, на что я способен, просидев полжизни в лагерях и подрочив столько лет в институте? Подумал и вспомнил, что у меня непонятно почему встал, как штык, от старой потрепанной, выпущенной при

царе книжонки «Как самому починить свою обувь».

– Сапожником пойду работать, – говорю. – Я очень люблю это простое дело. А материться больше не буду. Надоело.

– Умница! Умница! У нас и сапожники-то все перевелись! Набойку набить по-человечески не могут. Задрочились за шестьдесят лет. Иди, Коля, сапожничать. Благословляю.

– А как же вы тут без меня? – говорю.

– Управимся. Пусть молодежь сама дрочит. Нечего делать науку в белых перчатках. В свое время я дрочил, хотя был женат, и не брезговал. А чего я, Коля, добился? Стала мне понятней тайна жизни? Нет, не стала. Наоборот! Я скажу тебе по секрету, Коля. – Академик зашептал мне в ухо свой жуткий секрет: – Я считаю, что не зря жил и трудился в науке. Мне, слава богу, стала окончательно непонятна тайна жизни, и я уверен: никто ее не поймет. Да-с! Никто! Ради понимания этого стоило жить все эти страшные годы. Звоните. Приду к вам чинить туфли. И знакомых пришлю.

Тут табло зажглось «Приготовиться к оргазму». Ушел академик. А я, знаешь, кирюха, что завтра сделаю? Не догадаешься, пьяная твоя харя. Я завтра явлюсь на службу, соберу свои книжонки, включу сигнал «К работе готов», а сам втихаря слиняю. Слиняю и представлю, как Кимза вопит на всю лабораторию: «Внимание – оргазм!» – а кончать-то и некому. Заходит Кимза в мою хавирку, кнокает вокруг и читает мою записку: «Я завязал. Пусть дрочит Фидель Кастро. Ему делать нечего. Николай Николаевич». Кимза бросится

к Владе Юрьевне.

– Что делать, Влада? Остановится сейчас из-за твоего Коленьки наука.

А Влада Юрьевна ответит, она уже не раз отвечала так, когда я не мог, хоть убей, кончить:

– Не остановится, Анатолий Магомедович. У нас накопилось много необработанных фактов. Давайте их обрабатывать.

Москва 1970

Кенгуру

Посвящаю Алексею

1

Давай, Коля, начнем по порядку, хотя мне совершенно не ясно, какой во всей этой нелепой истории может быть порядок.

В том, 1949 году я был самым несчастным человеком на нашей планете, а может, и во всей Солнечной системе, хотя чувствовал это, разумеется, только я один. Кстати, личное несчастье – не всемирная слава и не нуждается в признании всего человечества.

Но давай по порядку. Только я в понедельник собирался отнести в артель партию готовых вуалеток, как раздался междугородный звонок. А вуалетки я мастерил для понта, что занят полезным трудом, несмотря на индивидуальность, и потом почему-то нравилось накалывать тушью черные мушки на нитяную решку. Сидишь себе, капаешь, а сам вспоминаешь, как дружески распивал с начальником сингапурской таможни великое виски «Белая лошадь». Итак: междугородный звонок. Подхожу.

– Гуляев, – говорю весело, – он же Сидоров, он же Каце-

неленбоген, он же фон Патофф, он же Экранц, он же Петянчиков, он же Тэдэ, слушает!

– Я тебе пошучу, реакционная харя! – слышу в ответ и тихо поворачиваюсь к окну, ибо понимаю, что скоро не увижу воли и надо на нее наглядеться.

– Чтобы ровно через час был у меня. Пропуск заказан. За каждую минуту опоздания сутки кандея. Только не вздумай закосить невменяемость. Ясно, гражданин Тэдэ?

– С вещами? – спрашиваю.

– Конечно. Захвати индийского, высший сорт, а то у меня работы много. Чифирку заварим.

Бросил он, гуммозник, трубку, а я свою, Коля, держу, не бросаю. Она библикает тоскливо «би-би-би-би», острые занозы в сердце вонзает. Тут я выдернул трубку с корнем из аппарата, и хочешь верь, хочешь не верь – она еще с минутой на полу библикала. Подыхала. Ты этому не удивляйся. У нас ведь тоже после смерти ногти растут и бороды, и если я врежу, дай-то Бог, дубаря раньше тебя, Коля, ты положи, пожалуйста, в мой гроб электробритву «Эра» и маленькие ножнички...

Но, милый мой, сам знаешь, когда бы мы с тобой реагировали на служебные неудачи, как ответработники или некоторые евреи, то схватили бы уже по двадцать инфарктов, инсультов и раков прямой кишки. Отшвырнул я подохшую трубку ногой под тахту и начал радоваться перед тем, как пострадать и сесть неизвестно за что и на сколько. Я до сих

пор помню каждую секунду из тех двух часов, которые я потратил на дорогу до Лубянки. Боже мой, какие это были секунды, даже части секунд и части их частей. Ведь я прощался с родимыми липами из семейного альбома и одновременно успевал давить косяка на свободных воробьев за окном. Смахнул тополиный пух с Ван Гога. Сообразил, куда заначить золотишко и денежку. Подумал, что платить за газ и свет западло – пускай за газ платит академик Несмеянов, а за свет сам великий Эйнштейн – специалист по этому делу. Кроме всего прочего, я подготовил все к моменту возвращения на волю: сервировал стол на две персоны и поставил поближе к своему прибору бутылку коньяка. Поставил и отогнал от себя мысль насчет того, сколько звездочек прибавится на этой бутылке, пока я буду волочь срок. Год пройдет – звездочка, потом еще одна, потом, думаю, ты, коньяк, станешь «Двином», потом «Ереваном», а если даже и «Наполеоном», то все равно я не фраер, все равно я освобожусь, выпью тебя, за кровь времени моей жизни выпью с милой лапонькой, которая вон – по улочке, в белом фартучке вприпрыжку бежит из школы... Зачем-то в булочную забежала...

Застилать на будущую ночь тахту я не стал. Зачем откладывать драгоценное времечко вроде как в копилку? Суждено будет – еще застелю. Присел я потом на дорожку, пятнадцать минут всего прошло со звонка, помолился, холодильник выключил и, между прочим, клопа, Коля, увидел. Хотел его – к стенке, но почему-то пожалел. Извини, говорю, отбываю в

ужасные края, и кусать тебе долго будет некого. Но я тебя, тварь живая, пожалею, ибо жить ты должен до пятисот лет и без кровной пайки преждевременно отдашь концы. Взял я клопика и осторожно подкинул под дверь соседки Зойки. Полминуты, не меньше, на это дело потратил. Герань на кухню вынес. Собрал чемоданчик и вышел из дому.

Заметь, вышел из дому. Стою у подъезда. Стою и стою, потому что ноги у меня не двигаются. И не от слабости, а просто не двигаются – и все. Собственно, зачем моим ногам двигаться, если как следует разобраться? Дорожку им самим не выбирать. Ее уже наметит для них гражданин подполковник Кидалла. А раз не выбирать, значит в ногах спокойствие. Правда, Кидалла дал час сроку и за каждую минуту опоздания обещал сутки кандея. Но ничего, думаю, откажусь. И в душе у меня примерно такое же спокойствие, как в ногах. Для души ведь тоже намечена гражданином подполковником Кидаллой дорожка, она же путь, она же тропинка, она же стезя, она же столбовая дорога, она же судьба.

Я, конечно, покандехал в Чека, но даже не заметил, как с места сдвинулся, потому что, Коля, жизнь меня тогда так между рог двинула костылем, что я, ей-богу, в первый момент не мог просечь: существую я или не существую...

Какая-то падла привязалась ко мне по дороге. Ей, видишь ли, показался странным взгляд, которым я кнокал на портрет Кырлы Мырлы, висевший в витрине гастронома. «Я, – говорит эта гадина, – давно за вами наблюдаю, и если вы не наш

человек, то лучше пойдите и скажите об этом органам сами. Может быть, вам не нравятся изменения, произошедшие в мире? Тогда заявите! Здесь! Сейчас! Заявите, вместо того чтобы носить фигу в кармане и истекать бессильной слюной врага, ставшего над схваткой!»

Ничтожеством обозвала меня, тварь, и, главное, Коля, не отстаёт, ибо ей, сволоте, интересно, по какую сторону баррикады она находится, а по какую я. Я тогда и загундосил с понтом сифилитика, что нахожусь по ту сторону баррикады, где мебель помягче и постаринней, и что направляюсь в вендиспансер на реакцию Вассермана после полового акта с одной милягой – наследницей родимых пятен капитализма. Слюной, конечно, нарочно ее забрызгал и думаю: не подсесть ли по семьдесят четвертой за хулиганство? Но сам знаешь: Чека, если надо, перетасует все пересылки, все БУРы и ЗУ-Ры, самые дальние командировки раком поставит, а найдет нужного человека!

Кстати, насчет баррикад и мебели. Вот этот туалетный столик я вынес в 1916 году из одной киевской баррикады. Стоит он столько, сколько «Волга» на черном рынке, но я его не продавал, не продаю и не продам! За ним Мария-Антуанетта причесывалась. Ну скажи, Коля, что происходит с нашей планетой? Зачем люди отрубают головы женщинам-королевам? Зачем? Почему? А какой-то слепой кишке, видишь ли, тошен взгляд, которым я давил косяка на Кырлу Мырлу!.. И не успокаивай меня, пожалуйста. Я не эпилептик. У

меня нервишки покрепче арматуры на Сталинградской ГЭС. Будь здоров, дорогой!..

Слава тебе, Господи, что мы с тобой нормальные люди! И запомни раз и навсегда: нормальные люди суть те личности, которые после всех дьявольских заварушек терпеливо и аккуратно, чтобы, не дай бог, не отломать ноженьку у какого-нибудь, пускай даже простого и зачуханного венского стула, демонтируют уличные баррикады. И соответственно, ненормальные – это те мерзавцы, которым кажется, что им точно известно, чего им хочется от жизни. Хотя что может хотеться людям, волокущим из дома на булыжную мостовую стулья? А ведь на них человек отдыхает! Столы, Коля, волокут, столы!!! А за ними наш брат ест, хакает, штевкает, рубает, кушает – одним словом, принимает пищу. И наконец, Коля, люди волокут на грязную улицу кровати, они же диваны, они же оттоманки, они же тахты, они же матрасы пружинные и соломенные, то есть волокут все, на чем кемарят одну треть суток, а иногда еще и днем прихватывают, все, на чем проводят первую брачную ночь и последнюю, на чем лежат больные, на чем плачут обиженные, на чем рожают и врезают дуба! Ненормальные люди! К тому же никак не поделят, кому на какой стороне баррикады находиться. Но хватит о них.

От той паскудины я тогда слинял и покандехал себе дальше. Пешочком иду, со свободой, с волей, прощаюсь. Бензиновым дымком дышу. Газировку пью. Курю, как сам себе дорогой и любимый, «Герцеговину Флор». На ласточек смот-

рю. Прощайте. И дальше канаю. Причем не теряю из отпущенного времени ни секундочки и, как уже говорил, ихних самых мелких частей...

Я перед заходом в Чека был вроде одного хмыря-смертника, которому дали птюху черствого в триста грамм и сказали, что это последний в его жизни хлеб. Хмырина-физик был битой рысью. Он разделил птюху на крошки, потом крошки на крошечки, потом крошечки на крохотулечки. Его исполнитель торопит: «Давай, гаденыш, быстрее. Тебя расстреливать пора! У меня рабочий день кончается, сука!» А хмырина отвечает: «Мне законом дадена возможность дохавать последнюю кровную птюху, и, падлой мне быть, если будешь мешать, прокурора по надзору вызову! Воды почему не при-таранил?»

Делать нечего. Несет ему смертельный исполнитель кружку водички. А хмырина кинет себе в рот крохотулечку черствого и катает ее, раскатывает языком, обсасывает, чмокает, плачет от удовольствия голода жизни! Исполнитель уже икры целую кучу переметал, базлает, что Спартак – ЦСКА вечером по телику и гости из Иркутской тюрьмы приехали. Его ждут. Но хмырина пригрозил, что не распишется в расходном ордере, если ему помешают хлеб хавать и воду пить. А помешать, между прочим, предсмертному приему пищи не имел права даже сам Берия. Он любил всякие красивые правила. Например, перед тем как заглянуть при шмоне в зад зэка, надзор был обязан сказать: «Извините, гражда-

нин или гражданка такая-то». Правило это, к сожалению, соблюдается в нашей стране крайне редко. Пока что так обращались только к Туполеву, Королеву и предгосплана Вознесенскому. В общем, исполнитель час ждет, два, четыре, грозит расстрелять хмырину каким-то особым способом, одному ему вроде бы открывшимся на курсах повышения квалификации, и звонит начальству. Но оно ведь ни за что не даст санкции на расстрел, пока смертником не схавана последняя крошка хлеба и не выпит последний глоток воды. Наконец в ладонях хмырины не осталось ни крохотулечки. Но он заявил, что бы ты думал, Коля? «Я, – говорит, – теперь за молекулы принимаюсь, а потом за атомы возьмусь». И снова пригрозил исполнителю сообщить напоследок куда следует, что тот, по сути дела, отрицает существование материи и объективно является троянским конем субъективного идеализма в нашей образцовой внутренней тюрьме, ибо преступно усомнился в официально признанном органами строения вещества. Исполнитель-псина пожелтел, глаза блевотиной налились зеленой, и говорит хмырине: «Посмотрим, что ты, сволочь почти мертвая, будешь хавать, когда у тебя от птюхи ни атома сраного не останется?»»

А хмырина ему и отвечает: «Я тогда, с вашего позволения, начну хавать электрон, который, по словам Ленина, практически неисчерпаем. А вы можете заявить, что исчерпаем, и посмотрим, какотреагирует отдел теоретической физики МГБ на это провокационное заявление. Вот, – говорит хмы-

рина, – где, оказывается, окопалось мракобесие! Вот как оно хитроумно устроилось и расстреливает в лоб самых преданных материалистов!»

Веришь, Коля, двадцать часов так прошло. Двадцать часов жизни на триста грамм черствого и кружку воды!

А потом хмырине вдруг заменили расстрел четвертаком и в шарашку увезли. Живым остался. А все почему? Потому что спешить никуда и никогда не надо!..

В общем, я тогда вроде хмырины-академика обсасывал последние свои леденцовые минутки и секунды и вдруг тоскливо просек, что времени на свободе для моей души больше нет. До свиданьица, говорю, Время Свободы, а сам дрожу – скрывать не собираюсь – от страха. Дрожу я, Коля, ибо очень страшно переходить ни с того ни с сего во Время Тюрьмы. А уж когда перешел, да спросил в окошечке пропуск, да поднялся по ступенечкам, да подал руку в злом коридоре генералу – он, между прочим, долго на меня пялил шнифты, должно быть, соображал, какой я промышленности министр, – когда я повеселел, чтобы не унывать, да постучал в дверь с табличкой желтой по красному «Кидалла И. И.», тогда у меня, Коля, страх пропал. Даже любопытство разобрало: что за казенный интерес мне корячиться? Вхожу.

– Привет, – говорю, – холодному уму и горячему сердцу!

– Заходи, заходи, гражданин Тэдэ. Помнишь, педерастина, я тебе обещал сутки кандея за каждую минуту опоздания?

– Помню, – говорю, – гражданин следовательно по особо важным делам, но кандей вам, извините, как номер сегодня не пройдет, потому что вы велели индийского пачку купить, а в магазинах с часу до двух перерыв. Поэтому я вынужден был задержаться. Эскьюзми.

– То есть как это перерыв? – удивился Кидалла.

Он, надо тебе сказать, Коля, как ребенок был иногда, совсем не знал характера жизни: все ведь допросы круглые сутки, допросы, пока очередной отпуск не поспеет. Это мы с тобой считаем дни и ночи, а они только очередные отпуска. Вот тогда мне и пришлось объяснить Кидалле социальное понятие «обеденный перерыв». Объясняю и сам радуюсь, что целый огромный и лишний оттяпал себе час. Я же не фраер: я пачку чая из дома прихватил.

Затем долго мы друг на друга смотрели.

Первое знакомство вспомнили, еще до войны, когда Кидалла взял меня и партнера с поличным на Киевском вокзале. Дело было дурацкое, но корячился за него товарищ Расстрелли. Одна нэпманша долго умоляла меня ликвидировать за огромную сумму ее мужа. Я хоть и порол эту нэпманшу, но просьба, Коля, мне не понравилась. Однако я с понтом согласился исключительно из обиды, что произвел за несколько половых актов впечатление наемного убийцы, и для того, чтобы наказать обоих. Ее, гадину, за кокетство с мужем, а его, оленя, чтобы смотрел в оба, когда женится на гнусных предательницах. Я этой Кисе усатой предложил план, и она

его одобрила. Сначала мы с партнером нэпмана шпокаем. Потом расчлняем и отправляем посылку с различными частями трупа пострадавшего его кроваво-злобным конкурентам.

– Они Гуленьку хотели съесть – так пожалуйста! Я угощаю! – сказала будущая вдова и для алиби показала на «Лебединое озеро».

Гонорар она обещала выдать, когда убедится в ликвидации своего Гуленьки. Хорошо. Захожу я во время танца умирающего лебедя в ложу и втихаря показываю вдове мертвую волосатую руку. Партнер ее купил за бутылку в морге. При сволочном нэпе, Коля, все продавалось и все покупалось. Получил я в антракте мешочек с рыжьем, пять камешков и слинял. Камешки были крупные, как на маршальской звезде. Итак, я слинял. Стали мы с партнером думать, куда мертвую холодную руку девать? Партнер предложил бросить ее у Мавзолея с запиской, что комсомольцы специально отрубили левую руку у правого уклониста. Отвергаю предложение. «Зачем, – говорю, – добру пропадать? Давай отнесем ее на ужин льву или тигру».

Пробрались мы через щель в заборе в зоопарк. Тихо там было, как в лагере после отбоя. Подходим к камере тигра. Кемарит зверь.

– Кис-кис! Мы тебе кешарь с гостинцем притаранили. Проснись, поужинай. Кис-кис!

Проснулся зверь, рыкнул, и просунул я мертвую руку

сквозь прутья. Веришь, Коля, киса, понюхав передачу нашу скромную, замурлыкала от радости и изумления, поблагодарила нас немного смягчившимся взглядом и принялась лопать чью-то никому не нужную конечность. Несчастливая, навек заключенная в камеру тварь урчала и, по-моему, плакала от счастья, что хакает мясо своего смертельного врага и обидчика – человека. Тут, почуяв это, зашумели другие хищники в соседних камерах. Вой, рычание, рык, лязг зубов, стук хвостов по полу. Хипеж, в общем, неслыханный. Мы сразу же слиняли.

Но из-за нашего благородного поступка пришел, Коля, конец нэпу. Да, да. Я говорю тебе сейчас чистейшую историческую правду, оставшуюся для идиотов-историков великой тайной. Поясню.

Поутрянке служитель нашел около клетки указательный палец. Тигр, наверное, спихнул его хвостом, а может, не пожелал хавать принципиально. Служитель, не будь дебилом, таранит палец в Чека. Положили его на стол Ежову. Тот говорит:

– Ба! – и бежит с пальцем к Сталину. – Так, мол, и так, Иосиф Виссарионович, правые и ленинские буржуа наглеют. Хозяева трех магазинов убили коммуниста Бинезона, потому что он уличил их в сокрытии доходов и неуплате налогов. Убили и скормили львам, тиграм, пантерам и гепардам. По кусочку. Ночью. Вот только указательный пальчик остался. Жена и товарищи по партячке опознали его. Бинезон не

раз грозил им в адрес нэпа.

– Символично, что от коммуниста товарища Бинезона остался не какой-нибудь там мизинчик, а указательный палец. Врагу не удастся скормить партию и ее ЦК диким животным. Мы, большевики, – не первые христиане, а Советский Союз – не Древний Рим. Не все коту масленица. Приступайте к сворачиванию нэпа. Берите курс на индустриализацию и коллективизацию. Выполняйте указания, – сказал Сталин.

И ты теперь, Коля, понимаешь, что, не скорми я тогда руку коммуниста Бинезона тигру, история России пошла бы, возможно, совсем другим путем, и нэп победил бы дурацкий, кровавый сталинский социализм. Большую я чувствую за это вину и никогда ее себе не прощу.

Слиняли мы, значит, из зоопарка, взяли двух ласточек, и только я хлопнул по попке знакомую проводницу и билеты ей вручил, как слышу проклятое «руки вверх!».

Выполняю команду. Общмонал меня Кидалла, он тогда еще лейтенантом был, и, оказывается, Коля, произошло следующее: эта сикопрыга-нэпманша прямо с «Лебединого озера» привела к себе домой какого-то полового гуся. Представляешь ее впечатление, если она охает под своим гусем, как вдруг в хату входит голый нэпман Гуленька весом в сто сорок кэгэ, тряся мудями, и видит на своей кровати чудесный пейзаж. Половой гусь, оказавшись впоследствии нервным эсером, крикнул: «Стой! Кто идет!» – и выпустил в Гу-

леньку пуленьку. Он, разумеется, хотел слинять, но не тут-то было. Киса для инсценировки велела себя связать и побить. Эсер все это сделал, вломил вдове за все как следует и слинял. А она подняла хипеж, явилась Чека, и я таким образом познакомился с Кидаллой. Киса дала ему мои с партнером приметы и раскинула чернуху, как мы ее, бедняжку, зверски изнасиловали на глазах родного мужа, затем шмальнули в него, забрали ценности, еще раз изнасиловали, связали и скрылись. Вышак за такое дело положен. Все улики против нас с партнером. Соображаешь? Я доказываю Кидалле, что мы Гуленьку замаяли хлороформом, сняли перстень и слиняли, и, конечно, всегда пожалуйста, готовы предстать за мошенничество, шантаж и перекуп метровой волосатой руки у расхитителей личной собственности из морга.

– У нас, – говорю Кидалле, – алиби есть стеклянное.

– А у меня, – отвечает Кидалла, – имеется на ваше стеклянное алиби член алмазный.

А я говорю:

– Гиперболоид инженера Гарина не желаете на ваш якобы алмазный? – После чего получил пресс-папье, которым Столыпин чернила промокал, по черепу. Вытер я, сам понимаешь, кровянку и продолжаю стоять на своем: – Не убивали, поскольку у нас иные амплуа. Более того, – говорю, – вы нам шьете убийство уголовное, а оно на самом деле вместе с изнасилованием политическое. Зачем вам это нужно?

Тут подоспел арестованный дантист Коган. В момент

убийства Гуленьки мы с партнером продавали ему золотишко на зубы, и, слава тебе, Господи, исторически сложилось так, что евреи любят подолгу торговаться! Торговались мы с ним ровно два часа. Когану Кидалла не имел права не поверить, потому что тот вставлял зубы Ленину, Бухарину, Рыкову, Зиновьеву и Каменеву. Тем более после показаний Когана нэпманша раскололась. Смотрю: заменжевал Кидалла. Задумался.

Нас с партнером Кидалла разогнал из Чека и ничего не стал шить. Правда, сказал, что я его должник. Потом он еще пару раз брал меня в посольстве Эфиопии и на дипломатической даче в Крыму и оба раза разгонял. «Гуляй, – говорит, – дорогой Тэдэ, – эта моя кликуха ему больше остальных нравилась, – до поры до времени, ибо приберегаю тебя для особо важного дела».

Вот и представь, Коля, мою жизнь: трамвай где-то сошел с рельсов, вредитель скрылся, а я жду повестки с вещами. Жду год. Жду два. Кирова шмальнули. Ну, думаю, вот оно, мое особо важное дело, наконец-то образовалось! Однако странно: не взяли.

Я совсем приуныл: если уж я не пошел по делу Кирова, какое же дело еще важней? Даже думать страшно было. В голове не укладывалось. В общем, жду. Лезвий безопасных в продаже не стало – жду. Мясорубки пропали – жду. Бусю Гольдштейна в Пассаже обокрали – жду. Кулаки Павлика Морозова подрезали – жду. Хлопок где-то не уродился – жду. Сучий мир! Во что превратили жизнь нормального человека! Жду. Жду. Жду. «Максим Горький» – жду. Джембул триппер схватил в гостинице «Метрополь» – жду. В Испании наши погорели – жду.

Чокаюсь потихонечку. Веришь, замечаю, что появилась во мне тоска по особо важному делу, по своему, по родному. Скорей бы, мечтаю, совершили вы его, проститутки паршивые! Что вы медлите с реализацией ваших реакционных планов и заговоров, диверсий и вредительств? Что ж вы медлите? Мандраж ожидания мешает моей основной работе. Годы летят. У меня карточные долги в Италии, Швейцарии, Канаде, Сиаме и Удмуртской АССР.

В общем, встань, встань на мое место, Коля. Тридцать шестой – жду. Орджоникидзе – жду. Семнадцатый съезд – жду. Тридцать седьмой. Озеро Хасан. Маньчжоу-го. Челюскин – жду. Леваневский то ли пропал, то ли слинял – жду. Крупская. Чкалов. Белофинны... Жду. Берут почти всех, кроме меня. На улице воронок больше, чем автобусов, и все битком набиты... Ромен Роллан. Герберт Уэллс. Как закалялась сталь. Головокружение от успехов – жду... Кадры решают все – жду. Сталинская конституция – жду. В общем, вся история советской власти, Коля, прошла через мой пупок и вышла с другой стороны ржавой иглой с суровой ниткой. Гитлер на нас напал – жду. Окружение. Севастополь. Киев. Одесса. Блокада. Чуть Москву не сдали – жду. Покушение на Гитлера – тоже жду. Второй фронт, суки, не открывают – жду. Израиль образовался. Положение в биологической науке – жду. Анна Ахматова и Михаил Зощенко – жду. И наконец случайно дождался своей исторической необходимости. Дождался. Сижу, кнокаю на Кидаллу, и он тоже косяка на меня давит, ворочает в мозгах своих, окантованных воспоминаниями.

– Давненько, – вдруг говорит, – не виделись, гражданин Тэдэ. Мне скоро уж на пенсию уходить. Пора получить с вас должок. Прошу слушать меня внимательно. Отношения наши дружественные и истинно деловые. Для вас есть дело. А дело в том, что наши органы через три месяца будут справлять годовщину Первого Дела. *Самого Первого Дела. Дела*

Номер Один. И к этому дню у нас не должно быть ни одного Нераскрытого Особо Важного Дела. Ни одного. Не вздумай-те вертухаться. Гоп-стоп, повторяю, не прохезает. Интимные вопросы есть?

– Сколько, – спрашиваю, – всего у вас нераскрытых особо важных дел и все ли будем оформлять на меня? Надо ли интегрировать эти дела ввиду того, что они, естественно, дифференцированы?

– Нераскрытых дел, – говорит Кидалла, – у нас неограниченное количество, ибо мы их моделируем сами. Предлагаю штук десять на выбор. Есть еще интимные вопросы?

– А что будет, если я уйду в глухую несознанку и не расколюсь, даже если вы мне без наркоза начнете дверью органы зажимать?

– Этот вопрос твой, – отвечает Кидалла, – глупый, и отвечать я на него не собираюсь. То, что ты сейчас сидишь передо мной, есть историческая необходимость, и вертухаться, подчеркиваю, бесполезно. Вместо тебя я могу, разумеется, взять сотню-другую товарищей-граждан. Но мне нужен ты, дорогой Тэдэ. Ты мне нравишься. Ты – артист и процесс превратишь в яркое художественное представление. Я тут на днях сказал одному астроному: «Это ваш звездный час, Амбарцумян. Раскалывайтесь – и дело с концом». В общем, Тэдэ, поболтать с тобой приятно. Давай, однако, завари чифирочка – и ближе к делу. Кстати, если тебя, как всех моих подследственных гавриков, интересует, что такое историче-

ская необходимка, я отвечаю: это – государственная, партийная, философская и военная тайна. Так что давай чифирнем, я уйду на особое совещание, а ты знакомься с делами.

Вот такой, Коля, был у нас разговор, и от этой исторической необходимости засмердело на меня такой окончательной безнадегой, что я успокоился, чифирнул, помолился Господу Богу и принялся рассматривать Дела. И мне стало совершенно ясно, что за каждое из них корячится четвертак, пять по рогам, пять по рукам, пять по ногам и гневный митинг на заводе «Калибр». Умели чекисты дела сочинять. Не зря им коверкотовые регланы с мельхиоровыми пуговицами шили. Умели, сволочи, моделировать дела.

Мне потом Кидалла электронную машину показал, которая им стряпать дела помогала и, в частности, состряпала мое. В нее ввели какие-то данные про меня, всепобеждающее учение Маркса – Ленина – Сталина, советскую эпоху, железный занавес, соцреализм, борьбу за мир, космополитизм, подрывные акции ЦРУ и ФБР, колхозные трудодни, наймита империализма Тито, и она выдала особо важное дело, по которому и поканал твой старый друг. О самом деле – немного погода.

Ну, всякие дела о покушениях на Иосифа Виссарионовича я с ходу откинул копытами, как дикий мустанг. На Кагановича, Маленкова и Молотова и на них всех вместе откинул тоже. Ну а раз так, зачем брать мне было на себя организацию вооруженного нападения на Турцию с целью захвата

горы Арарат и провозглашения Пан-Армении? Дело, конечно, само по себе небезынтересное и благородное, но – группка-с! Группка-с, Коля! Ведь мой принцип: идти по делу в полном одиночестве. Хорошо. Много дел я перебрал. Остановился было на печатании денежных знаков с портретами Петра Первого на сотнях, футболиста Боброва на полсотнях и Ильи Эренбурга на тридцатках, но раздумал. Кражу во время операции одной почки у организма маршала Чойбалсана я в гробу видал. Попытку инсценировки «Братьев Карамазовых» в Центральном театре Красной армии – тоже. Крушения, отравления рек и газировки в районах дислокации танковых войск, саботаж, воспевание теории относительности, агитация и пропаганда, окапывание в толстых журналах с далекоидущими целями, срывание планов и графиков, многолетняя вредительская деятельность в Метеоцентре СССР, шпионаж в пользу семидесяти семи стран, включая Антарктику, – все это, Коля, было тоскливо, отвратительно и аморально.

И тут, перед самым приходом Кидаллы, попадаетея мне на глаза, что бы ты думал, милый? Мне попадаетея на глаза «Дело о зверском изнасиловании и убийстве старейшей кенгуру в Московском зоопарке в ночь с 14 июля 1789 года на 9 января 1905 года». Наверное, гнусная машина перепутала Французскую революцию с трудоднями, отпечатками моих пальцев, Кровавым воскресеньем, австралийской реакцией, опасным для СССР образованием государства Израиль и вы-

дала дело, которого я дожидался годами. Читаю.

«Мною, кандидатом филологических наук Перьебабаевым-Валуа, во время ночного обхода образцового слоновника с антикварной колотушкой были зафиксированы звуки, в которых модуль суффикса превалировал над семантической доминантой чертежная доска антисоветских анекдотов глумясь лирического героя да здравствует товарищ Вышинский оказавшийся кенгуру зажег коптилку лучину факел бенгальский огонь Альфу Центравра еб твою мать цепных псов тревога львиной долей следы борьбы в сумке кенгуру краткий курс четвертая глава привлекался на оккупационных территориях не имею пульс нуль составил протокол Перьебабаев-Валуа».

Вот какая, Коля, уха! Но мне она чем-то понравилась. Я подумал: кому же могло прийти в голову трахнуть бедное животное кенгуру и убить? Подумал и вдруг ясно понял: да ведь это же моих рук дело! Моих! Я – моральный урод всех времен и народов – долгими зимними ночами следил с верхотуры высоты на площади Восстания за старейшей кенгуру и, запутавшись в половом вопросе, готовил преступление, леденящее кровь прогрессивных сил! Я его совершил, я за него и отвечу с открытой душой перед самым демократическим в мире правосудием! Жди, Фемида, любезная подружка международного урки, скорого свиданьица и не толкуй народным заседателям в совещательной хавирке, что не твое это Дело! Твое! И мое! Я долго его ждал и все-таки дождал-

ся! Вся моя жизнь была подготовкой к зверскому убийству невинного животного, убийству к тому же лагерному, потому что зоопарк не что иное, как лагерь, он же закрытка, он же централ, он же БУР, он же ЗУР, он же пожизненный кандей бедных и милых птиц и зверей, сотворенных Богом для существования на вечной свободе! Давай поднимем, Коля, тост за тех, кто там! За кенгуру, за голубых белок и белых лебедей!

– Приглянулось мне, – говорю вошедшему в кабинет Кидалле, – одно дельце.

– Давай, – отвечает мусорина окаянная, – помажем, что я знаю какое?

Помазали. Он что-то написал на бумажке. Я говорю: «Кенгуру». Он мне протягивает бумажку и выигрывает, тварь!

Ты прав, Коля, в голове моей тогда были не мозги, а черные козлиные орешки в белой сахарной пудре. Я проиграл. Но не мог же я предположить, что Кидалла меня мариновал двадцать лет не для пятьдесят восьмой, терроров, саботажей, измен, а для кенгуриного дела, придуманного к тому же задристанной электронной машиной!

– Вот так, гражданин Тэдэ, – говорит Кидалла, – я специально взял тебя на понт, и КПД соответствия подследственного существу предъявленного обвинения оказался равным 96 процентам. Это абсолютный рекорд нашего министерства. Прежний составлял всего 1,9 процента. Поздравляю.

Я вижу, что тебя беспокоит туфтовое показание Перьебабаева-Валуа. Это машина слегка барахлила. Сегодня я лично допрошу ее изобретателя Карцера, и истинные причины неполадок станут нам известны. У меня, ты знаешь, не повертухаешься. Я иногда умею помочь вспомнить врагу даже детали его прошлой жизни, века за два назад, еще на заре рабочего движения, не то что подробности передачи чертежей нового линкора японцу Тотоиното. Ясно?

– Ясно, – отвечаю и спрашиваю в лоб: – Но только на хрена вам волынка с машиной, когда любой Корнейчук тиснет по вашему заказу такие дела, что в них ни словечка исправлять не придется?

– Ты, Тэдэ, человек неглупый, но, как враг, органически не можешь понять, что мы не можем стоять на месте. Всюду происходит всепобеждающая борьба нового со старым, и от технической оснащенности органов зависит во многом соотношение сил на мировой арене. Империализм не дремлет. Он внедряет ЭВМ в производство, в управление, в оборону, в агрессию, во все области жизни. Мы решили сделать ход конем и поставить объективно реакционную науку кибернетику на службу делу мира. Нам важно обезвредить внутреннего врага еще до того, как он активно включится в дело, нам важно помочь врагу разобраться, какое именно дело полностью соответствует его мировоззрению, политическому темпераменту, эрудиции, различным низменным инстинктам, и полностью исключить вероятность переквалификации, ска-

жем, потенциального некрофила-экстуматора старых большевичек во вредителя парашютов, и наоборот. Но самый большой, революционный, теперь уже смело можно заявить, плюс – это скачок от преступного, неосознанного подчас замысла врага к суровому наказанию, минуя само преступление с его кровью, ужасами, цинизмом, утечкой информации, болью, слезами родственников пострадавших и ущербом нашей военной мощи. Процесс бездушного отношения к эволюции преступления нами развенчан полностью, а пресловутая презумпция невиновности выкинута на свалку истории вместе с произведениями белогвардейской шлюхи Ахматовой и активного педераста Зощенко.

Сейчас, Коля, давай выпьем за самых ядовитых змей, потому что нет на земле ни одного насекомого, ни одной змеи, ни одного червяка, ни одного зверя, недостойного Свободы! Проклянем же тюрьмы, лагеря и зоопарки. Хотя это очень и очень разные вещи. Просто я хочу сказать, что некоторые люди хуже кобр и вонючих хорьков, ибо ведают, падлы, что творят. Но и тут, Коля, все до того запутано, что нам с тобой наверняка не распутать клубок мировой истории. Не мы его стянули с коленок старенькой бабушки-жизни и запутали, а какой-то котенок. Вот пускай котенок его и распутывает. Мы же вернемся к Кидалле.

Он мне, значит, открыл свои планы революционного подхода к преступлениям и велел не беспокоиться насчет электронной каши в протоколе. В них, мол, наведет порядок

один наш крупный прозаик-соцреалист. Пообедали. Покурили. Посмотрел я в окошко, а там «Детским миром» еще не пахло. На том месте, где он сейчас стоит, была забегаловка «Иртыш» и славный бар «Веревочка».

— Ну что ж, — говорю, — товарищ Кидалла, давайте ближе к нераскрытому особо важному делу. Раз я согласен, значит у меня есть к органам кое-какие претензии. Во-первых, — говорю, — камера должна быть на солнечной стороне. Из газет — «Нью-Йорк таймс», «Вечерка», «Фигаро», «Гудок» и «Пионерская правда». Питание из «Иртыша». Оттуда же раки и пиво. Мощный приемник. Хочу иметь объективную информацию о жизни нашего государства, и, разумеется, не забудем, товарищ Кидалла, о сексе. О сексе, — говорю, — человек не должен забывать даже во время затяжного предварительного следствия, а оно, как я полагаю, будет длиться пять месяцев и семь дней. За такой срок можно женскую гимназию превратить в женскую консультацию имени Лепешинской, которая в нашей, небось, — говорю, — лаборатории из бытовой пыли получила живую клетку. Девочек будем менять каждую ночь. Невинных не надо. Не надо также дочерей и родственниц врагов народа, потому что я не тот человек, который злоупотребляет служебным положением и изгибается над несчастными. Не тот, товарищ Кидалла!

Смотрю: Кидалла побелел, глаза зеленой блевотиной налились, рука к пресс-папье потянулась. Быстро подставляю под удар часть мозга, заведующую устными показаниями.

Кидалла закрипел зубами и вышел куда-то. Бить не стал.

– Чего, – говорю, когда он вернулся, – вы психуете?

– Я, – говорит Кидалла, – регулярно психую три раза в сутки. В стресс впадаю. И мне требуется разрядка. Я тогда помогаю друзьям допрашивать врагов. Сейчас вот помудохался с одной актриской. Берии самому не дала, сволочь, а какому-то паршивому филиппинцу поднесла себя на блюдечке. Мерзость. А Зоя Федорова – музыкальная история – что вытворяет? Полюбила американца! И конца нашей работе не видно. Выкладывай, разложенец, остальные претензии!

– Три раза, – говорю, – в неделю кино, желательно неореализм, Чаплин и «Двадцатый век Фокс», Бунюэль, Хичкок, Иван Пырьев. После процесса отправка в спецлаг с особо опасными политсоперниками советской власти, бравшими штурмом Зимний, и ближайшими помощниками Ильича. Со светлыми личностями, в общем. Так. И еще, – говорю, – товарищ Кидалла, у меня к вам личная просьба. Поскольку вы не без моей дружеской поддержки получите за внедрение в следственный процесс ЭВМ закрытую медаль «За взятие шпиона» и значок «Миллионный арест», то я убедительно умоляю вас посадить на пару дней в мою однокомнатную камеру, в мое уютное каменное гнездышко изобретателя ЭВМ. Очень вас прошу. Я даже готов сократить срок предварительного следствия за знакомство с человеком, чей бюст со временем украсит вестибюль Бутырок, фойе Консьержери и Тауэра.

– Ну хватит сотрясать мозги, – говорит Кидалла, – закругляйся! Домой ты не вернешься. Входи в роль убийцы и насильника кенгуру. По системе Станиславского сочини сценарий процесса, обдумывай версии и варианты и радуйся: ты по-своему себя обессмертил и будешь фигурировать в Закрытой Истории Чека рядом со мной. А ее когда-нибудь напишут! Напишут о нашем труде! Напишут, как мы помогали не объяснять весь мир, а переделывать!

– А кто, кстати, – спрашиваю, – будет уделывать кенгуру? Может, вообще ее не убивать? Пускай живет. На хрена органам путать искусство с жизнью и наоборот? Кенгуру ведь не Киров, за нее золотом платить надо.

– Вопрос о кенгуру, – отвечает Кидалла, – муссируется сейчас на коллегии, и он не твоего преступного ума дело. Мы, если понадобится, и парочку динозавров уколошим, не постоим. Цель оправдывает средства. Твои претензии учтем, кроме одной. «Пионерской правды» не видать тебе, педерастина, как своих ушей!

Я, конечно, спросил Кидаллу, почему это не видать, а он вдруг снова побелел и в крик: «Молча-ать! Конвой!»

Приходит мусор – рыло девять на двенадцать. Кидалла и велит ему волочь меня в третью комфортабельную с содержанием по высшей усиленной.

Не отдохнуть ли нам, Коленька, не устроить ли нам перекур с дремотой? Не хочешь? Тогда давай выпьем за слонов и за всю секцию крупных хищных животных и пожелаем во-

нючему человечеству скорее оставить их в покое. А заодно и нас с тобой!

Мусор дал мне тогда какой-то микстуры в дежурке, и проснулся я, неизвестно сколько прокемарив, на чистом белье, в чудесной комнатушке без единого окна, но воздух – прелесть и холодок, как летом на даче. Герань в горшочках. Васильки и ромашки в вазочке. Послушай, Коля, я что-то вдруг забыл, имелся ли в той комнатушке потолок?.. Имелся ли потолок? Странно. Даже такие простые вещи иногда, оказывается, забываются. Васильки, в общем, и ромашки в вазочке. Мощный приемник «Телефункен» и фотографии с картинками. Вся история реждвижения в России, партийной борьбы и советской власти в фотографиях и картинках. Вольтер. «Радищев едет из Ленинграда в Сталинград». «Буденный целует саблю после казни царской фамилии». «Вот кто сделал пробоину в „Челюскине“ и открыл каверны в Горьком!!!» «Ленинский огромный лоб». «Сталин поет в Горках „Сулико“». «Детство Плеханова и Стаханова». «Якобы голод в Поволжье и на Украине». «Мама Миши Ботвинника на торжественном приеме у гинеколога». «У Крупской от коллективизации глаза полезли на лоб». «Кривонос и паровоз кулаков везут в колхоз». «Мир внимает Лемешеву и Козловскому».

Ты себе представить не можешь, Коля, чего только там не было вместо обоев, и, разумеется, на самом видном месте

висели стереофото Кырлы Мырлы, еще совсем безбородого, не усатого и не кучерявого, и Ильича, наоборот, шевелюристого, с мягким пушком на скулах. Ну что еще? Книги. Сервант с хрустальными рюмочками. Гардероба не было, а стол стоял со стульями. Уют. Телефон. Я выпрыгнул из постельки, как мальчик, и ласточкин номер набрал. А мне в трубку Кидалла говорит, чтобы я скорее завтракал и начинал занятия по зоологии и географии. Учитель уже в пути. Тогда я набираю номер еще одной своей ласточки и опять нарываюсь на Кидаллу.

– Если, – говорит, – дрочить меня не перестанешь во время важного допроса, я тебя, гадюку, совсем по другому делу направлю, а этот телефон для признаний, раздумий, внутренних сомнений и рацпредложений. Подъем, мерзавец!! Прекрати яйца чесать, когда с тобой разговаривает офицер контрразведки!

Я, конечно, спрашиваю, откуда ему известно, чем я в данный момент предварительного следствия занимаюсь, а Кидалла еще громче заорал, что видит на экране мою омерзительную харю, по которой он еще погуляет пресс-папье.

Я и повесил трубку. Лежу. Разглядываю вышивки на наволочках, простынях и пододеяльнике. Все – подарки на день рождения Якиру, Тухачевскому, Егорову и прочим военачальникам от корешей, с которыми они вместе брали Кронштадты, Перекопы и каленым железом выжигали дворянскую язву на теле России. Конфисковали бельишко у па-

лачей более удачливые и гнусные палачи. Встал. Сходил в сортир. Маленький такой, милый сортирчик. На двери нацарапано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! История еще вынесет внутренним врагам свой приговор». Ну, думаю, идиотина, она ведь тебя уже приговорила! Добавки захотелось? Получишь! Не мечи икру! Обязательно получишь! Придешь на вахту, сунешь рыло за справкой об освобождении и получишь еще пять или десять по зубам от матушки Истории, движущей силой которой ты сам являлся, пока тебя не остановили твои дружки по баррикаде. Сукоедина. В таком сортире на следствии надо кайф ловить, а не изрыгать сентенции!..

Бамс! Открывается кормушка, на пол падает «Фигаро». Я стучу и спрашиваю: где «Гудок»? Мне голос хрен знает откуда отвечает: «„Гудка“ седни не будя. Типографские бастуют».

Удивляюсь. Набираю номер третьей своей ласточки из театра кукол. «Товарищ Кидалла, – говорю, – неужели гудковцы объявили нам с вами забастовку? Где „Гудок“? Я ж исключительно этот орган любил читать в экспрессах! Мне без него, – говорю, – в неволе трудно».

Кидалла терпеливо разъяснил, что бастуют типографии Херста и не выходит «Таймс», а тираж «Гудка» задержан, так как по вине вредителя-редактора на передовой фотографии «Каганович в березовой роще» на одной из берез виднеется слово из трех букв и имя «Гоша».

– Гоша только что, – говорит Кидалла, – взят нами при попытке перейти финскую границу. Остальное – дело техники. Редактора через день ликвидируют, и «Гудок» начнет выходить как ни в чем не бывало.

Бамс! Снова кормушка, и на ней, Коля, завтрак. Полопал. Закурил. Дымок вытягивается неизвестно куда, но ясно, что на свободу. Колечко за колечком. Тю-тю! И никто ничего про меня не знает, кроме Кидаллы. А учитель все чего-то не идет и не идет. Я книжки полистал. Хорошие книжки. Из личных библиотек врагов народа. На «Трех мушкетерах» читаю: «Дорогому Бухарину – Портосу первой пятилетки. Не надо враждовать с гвардейцами Ришелье. И. Сталин». Не послушался, олень. Полез со шпагой на мясорубку. Достая брошюру Толстого «Непротивление злу насилием». «Верному другу Зиновьеву, с пожеланием поплясать на трупах кавказских преторианцев. Каменев». А интересно, думаю, знает родной и любимый про дело кенгуру или не знает? Вдруг голос слышу:

– Учитель пришел. Постороннего не болтать. Не шушукаться, ничего не передавать. Быстро воспринимать!

Стена раздвинулась бесшумно. Шверник от «Буденного целует саблю» отъехал. Старикашку ко мне втокнули, и стена снова сдвинулась, чуть его не раздавила. Прижало старенькие брючки. Пришлось старикашке выпрыгнуть из брюк и остаться в кальсонах с тесемочками. Жалко его. Дрожит, как старый петушок, борода седенькая трясется, и пред-

ставляется мне:

– Профессор Боленский. По вопросу о сумчатых. Всесторонние консультации. С кем имею честь?

– Здравствуйте, – говорю, – профессор. Успокойтесь. Зовите меня Фан Фанычем. Вы зэк или вольняшка?

– Пока еще вольняшка! – ответил по радио Кидалла. – Приступайте к занятиям, сволочи!

Профессор стал сморкаться, но это с понтом, а сам плачет от первого, возможно, в своей жизни оскорбления и в платочек с ужасом говорит: «Боже мой... Боже мой... Боже мой...»

Тут я, чтобы его отвлечь от позора чести, начал задавать научные вопросы. Зачем кенгуру карман и какая такая историческая необходимость его спроектировала? Когда кенгуру хочет самца и бывают ли у них брачные танцульки? Что они хавают? Во сколько ложатся кемарить? Кусаются ли? Копыта у них или когти и почему вообще Австралия стала островом? Вопросы-то я задаю, а сам пуляю профессору ксиву, чтобы он тянул резину по три дня на каждый ответ, и от себя лично добавляю:

– Не бздите, дедушка, выкрутимся и вынесем на пару наш самый суровый приговор истории.

Профессор прочитал и чуть не погубил себя и меня, затряс мне руки и захипежил:

– Непременно! Всенепременно вынесем! У вас изумительный угол зрения, коллега!

– В чем дело? Что вы, гады, там не поделили? – гаркнул по радио Кидалла.

Старикашка, очень он меня тогда удивил, шустро доложил, что мой ум и зрение, то есть наблюдательность, его совершенно потрясли и что таким учеником, как я, может гордиться любой большой ученый.

– Не тем, кем надо, гордишься, генетическая твоя харя. Продолжайте занятия, – сказал Кидалла.

Оказывается, профессора взяли вечером в буфете Большого зала Консерватории, приволокли к Кидалле, и тот спросил старикашку, что ему известно как крупному биологу о кенгуру. Старикашка, конечно, с ходу колется и продает своих любимых кенгуру со всеми потрохами, говорит, что знает о них все и готов дать показания. Ну его и приставил Кидалла ко мне для обучения, потому что к процессу я должен был прийти не с рогами, а со сценарием. Болтали мы о всякой всячине, но когда щелкало в динамике за «Буденным целует саблю», переходили на науку. Например, профессор толкует, что кенгуру являются бичом австралийских фермеров и опустошают поля, а Кидалла заявляет по радио:

– Вот и хорошо, что опустошают, так и дальше валяйте. Это на руку мировой социалистической системе.

– Извините, – говорит старикашка, – но нам еще придется покупать в случае засухи у Австралии пшеничку? Я уж не говорю об Америке.

– Не придется, – отвечает Кидалла, – у нас в колхозах кен-

гуру не водятся. А вы, Боленский, не готовились, кстати, к покушению на Лысенко и других деятелей передовой биологической науки?

– Я, гражданин следовательно, – вдруг взбесился старикашка, – о такое говно не стану марать свои незапятнанные руки!

– Чистюля. Продолжайте занятия.

Ну, мы, Коля, и продолжали... Пять дней живем вместе. Он про свою жизнь мне тиснул, а кормили нас по девятой усиленной. Пиво. Раки. Бацилла. И когда я узнал, что старикашка – целочка (его невесту в пятом году булыжником пролетариата убило с баррикады) и что женщин он близко не нюхал, я вспомнил телефон одной славной ласточки, набрал номер и говорю Кидалле, чтобы срочно присылал двух незамысловатых миляг противоположного пола. Нам, мол, нужна разрядка. У профессора сосуды сузились и общее переохлаждение от страха и ограничения гормональной жизни. Требуется живое тепло, а то он заикаться начал.

Старикашка тюремную науку лопал, как голодный волк: не жуя заглатывал и целый день до моего заявления прекрасного заикался. Заскрипел по радио Кидалла зубами, но делать нечего: раз в смете подготовки к процессу были денежки на девочек, то – кровь из носу – отдай их и не греши. Советская власть обожает порядок в тюрьмах, моргах и вытрезвителях.

И вдруг, вечером, слышим мы с профессором «хи-хи-хи» да «ха-ха-ха», Буденный от Кырлы Мырлы отодвигает-

ся, и, ля-ля-ля, сваливаются в мою третью комфортабельную как с неба две стюардессы в синих пилоточках – юбчонки выше колен, бедра зовут на смерть! Профессор сразу бросился брюки надевать, которые раньше были стеной зажаты.

– Здравсте, враги народа, – говорят небесные создания.

Боленский покраснел, раскланялся, что-то забормотал по-французски. Выбираю для него ту, что пожиганестей, и говорю:

– Учти, солнышко, халтуру не потерплю. Старику терять нечего: он убил огнетушителем директора гондонного завода и приговорен к смерти. Люби его так, словно ты любишь в последний раз и тебе мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы.

Профессору я тоже объяснил насчет мучительного стыда, любви и велел применить «способ Лумумбы». В те времена он еще назывался «способом Троцкого». Открыли мы шампанского, завели патефончик – подарок Рыкову от Молотова. «У самовара я и моя Маша». Смотрю, Коля, стюардесса уже на коленях у нашего старикашки. Он ни жив ни мертв, ушами хлопает, воздух ртом ловит, а она профессионально расстегивает его ширинку и мурлычет:

– А кто же это нам передал огнетушитель? А кто же это старенькой кисаньке передал огнетушитель? И где же это, сю, сю, сю, было? На квартире резидента или в ресторане «Националь»? Ах, куда же наша седая лапочка спрятала радиопередатчик и шифры? Цу, цу, цу!

И моя гадюка тоже лижется и разведывает, целовался ли я с кенгуру, и что я ей дарил, и кто меня приучил к скололожству: враги академика Лысенко, Шостакович и Прокофьев с Анной Ахматовой или же космополиты и бандеровцы? Примитивная работа, Коля. Я с ходу спросил у гадюки, что у них сегодня – экзамен или зачет? И по какому предмету? Она неопытная была, раскисла, заревела и шепчет:

– Дяденька, помогите! Мы с Надькой два раза заваливали получение информации при подготовке к половому акту с врагами народа. Нас исключат из техникума и на комсомольскую стройку пошлют... Там плохо... Ваты на месячные и то не хватает... расскажите хоть что-нибудь... Вам же все равно помирать, а у нас вся жизнь, дяденька, впереди... Расскажите, дяденька!

Ну, Коля, тут я по доброте душевной такую чернуху раскинул, что ее на докторскую хватило бы, не то что на вишивый зачет. Девка запоминать не успевала и шпаргалку помадой на ляжке записывала, а я притыривал, чтобы Кидалла не засек по телевизору.

Вдруг старикашка взвыл нечеловеческим голосом, он уже на своей жиганке трепыхался и спьяну завопил по-латыни:

– Цезарь! Лишенный невинности приветствует тебя!

Щелкнуло. Слышу в динамике голоса, и Кидалла докладывает:

– Ведем наблюдения, товарищ Берия, по делу кенгуру.

И снова стало тихо. Только профессор дорвался, тахта

ходуном ходит. Слова говорит. Мычит. Охает. Рыкает полвиному. Завещание обещает оставить и коллекцию марок. Свиданку назначает на площади Революции и снова мычит, мычит, правда, что молодой бычок, дорвавшийся на горячей полянке до пегой телки. Видать, понравилось студентке. «Ой, мамочки... ой, мамочки... ой, откуда ты такой взялся... мальчик мой родненький, – и уже в полной отключке, – огнету... огнету... туши... туши... огне... тушиыыыы!»

Постой, Коля, не перебивай, я же нарочно тебя возбуждаю!..

Профессор зубами стучит и одно слово повторяет: «Апогей... А-погей... а-а-а-апогей!»

Снова – щелк, и Берия, наверное, Кидалле говорит с акцентом:

– Вы только посмотрите, товарищи, сколько у них энергии. Сколько у врага второго дыхания. Утройте бдительность! В какой стадии дело о попытке группы архитекторов пересмотреть архитектуру Мавзолея?

– Группу успешно формируем. На днях приступили к активному допросу, – ответил Кидалла. – Посвящаем его дню рождения Ильича.

– Продолжайте наблюдение! – велел Берия.

Под утро, Коля, улетели от нас стюардессы. Улетели. Словно бы их и не было. Профессор закемарил как убитый. Улыбается во сне, что мужчиной стал на семьдесят восьмом году жизни, и слюна, как у младенчика, с уголка губ на ка-

зенную подушку, подаренную некогда Сталиным Блюхеру, капает.

Я тоже уснул. Мне было, Коля, тяжело. Я ведь бедную бабу не трахнул, а всю ночь помогал ей готовиться к зачету. Давай выпьем за белых и бурых медведей и за голубых фламинго!

Ты веришь? Целый месяц мы кантовались с почетным членом многих академий мира, лауреатом Сталинской премии, депутатом Верховного Совета СССР академиком Боленским. И не осталось на земле таких сведений о кенгуру, которых бы я, Коля, не знал. А уж зато старикашка пошел у меня по вопросам секса и женской психологии. Под конец он у меня вслепую рисовал большие, малые и прочие ихние замечательные устройства. На практических же занятиях, так сказать, загулял мой ученик по буфету. Девки к нам, наверное, после того, как стюардессы великолепно сдали зачет, влетали теперь каждый вечер, и все в разных формах и ролях. Официантки – первые в мире стукачки, шахматистки, певички, доярки, крановщицы номерных заводов, лаборантки из ящиков, вокзальные бляди, писательницы, продавщицы, кандидаты наук, слепые, глухонемые и после полиомиелита. Кидалла всех обучал, потому что был профессором закрытого секретного техникума, и мы со старикашей явно понравились ему как преподаватели.

Особенно интересную информашку поставлял девкам профессор, вернее, половой маньяк, как однажды объявил по радио Кидалла. Его любимым коньком стал, с моей лег-

кой руки, огнетушитель. Он в него притыкивал чертежи водородной бомбы, заливал напалм, закладывал долгодействующий фотоаппарат, магнитофоны, излучатели дезорганизующей энергии и тэдэ. И конечно, Коля, передавали ему огнетушители представители всех разведок мира, включая папуасскую. По дороге профессор продавал девчонкам вымышленных сообщников: Черчилля, померших коллег, секретарей партбюро, несуществующих соседей, любовниц и даже самого Лысенку. Старикашка однажды расцеловал меня за то, что он счастлив, стоя одной ногой в могиле, иметь такого истинного и светлого учителя жизни, как я – Фан Фаныч.

Сам понимаешь, расстались мы с профессором друзьями. Веришь, плакал старикашка на груди у меня перед тем, как его дернули.

– Я, – говорит, – за этот месяц прожил с вашей, Фан Фаныч, помощью огромную жизнь и не считаю, что изменил Дашеньке. – Ей, Коля, с баррикады в висок булыжник пролетариата, если помнишь, попал. – Спасибо, дорогой Фан Фаныч! Лично я, не беря с собой никого по делу, прощаю все зло мира за радость знакомства с вами и ничего не боюсь. Ни-че-го! Справедливость восторжествует!

У старикашки милого действительно страх пропал. Разделся догола, закурил сигару и ходит себе из угла в угол, лекцию мне тискает про образ жизни кенгуру. Я ему сказал напоследок пару слов насчет торжества справедливости.

– Торжество, – говорю, – уже было, да прошло. Свечи погашены, лакеи плюгавые фазанов дожирают. А нас с вами, голодных и холодных, на том торжестве не было, нет и не будет...

Тоскливо мне без него стало. Тоскливо. Ласточек я велел Кидалле больше не присылать, так как мне надо организовать накопленные знания, посочинять сценарий и набросать пару версий и вариантов. Лежу целыми днями. Курю, и дымок все улетает неизвестно куда... На солнечные часы смот-

рю. Окон, Коля, в камере действительно не было, не лови меня на слове, а солнечные часы были для садизма, и черт его знает откуда бравшаяся тень показывала мне время. Тоска, падла, тоска. Почти не хаваю, «Телефункен» не включаю. От постельного белья Первой Конной воняет, от хлебушка – кровавой коллективизацией. Читаю «Гудок», он снова выходить начал, «Таймс» и «Фигаро». Кидалле по телефону говорю:

– Переведи ты меня отсюда куда-нибудь в настоящую тюрьму. Тут я чокнусь, стебанусь и поеду. Или пожар устрою. Сожгу простынки Тухачевского, стулья Орджоникидзе, указы Шверника, болтовню Троцкого, полотенце Ежова, «Три мушкетера» Бухарина, «Государство и революцию» Ленина! За что ты меня изводишь? Хочешь, возьму на себя дела ста восьмидесяти миллионов по обвинению в измене Родине? Хочешь, самого Сталина дело на себя возьму? Не хочешь? Тогда давай пришьем ему сто девятую – злоупотребление служебным положением и семьдесят четвертую, часть вторую – хулиганские действия, сопровождающиеся особым цинизмом? Молчишь, мусорина поганая, фашист, трупную синеву твоих петлиц в гробу я видал. Переведи меня отсюда в одиночку, пускай – лед на стенах и днем прилечь не дают! Переведи! Печенку на бетоне отморожу, чахотку схвачу, косточки свои ревматизмом кормить буду, сапоги твои вылижу, пускай глаза мои оглохнут, уши ослепнут, только переведи! Переведи меня в лед и в камень, где

Первой Конной не воняет, Перекопом, правой оппозицией, коллективизацией, Папаниным на льдине, окружением белых солдатиков, сука, при чем тут я? Переведи, умоляю! Дай мне вместо пива и раков света кусочек дневного за решеткой! Я на ней сам с собой в крестики и нолики играть буду, ну кому ж я мешаю? Кому я ме-ша-ю???

Хипежу, Коля, а сам чувствую, вот-вот чокнусь, вот-вот стебанусь, вот-вот поеду. Кидалла молчит, терпеливо выносит оскорбления в разные высокие инстанции и в круги, близкие к взятию Зимнего. Ничего не щелкает, «Буденный целует саблю» от юного безбородого Кырлы Мырлы не отодвигается, рыло надзирательское не появляется и в зубы мне маховиком не тычет. Побился я в истерике, но все бесполезно, и забылся вдруг. Под наркоз меня Кидалла бросил. Тогда я, разумеется, этого не знал.

Выхожу из наркоза обалдевший и связанный по рукам и ногам. Лежу почему-то на полу, на свежем сене, перед глазами миска сырой морковки и незнакомые веточки с листиками. Оглядываюсь. Обстановка камеры все та же. Только почему-то у Кырлы Мырлы на портрете борода стала отрастать и в шинфтах безумный блеск появился. Уставился он на меня и словно говорит: «Хватит, Фан Фаныч, мир объяснять! Надоело! Пора его, паскуду, перелицевать!»

Да, Коля, чуть не забыл! Ряд картин и фотографий исчез почему-то со стен. «По большевикам пошло рыдание», «Ужас из железа выжал стон», «У гробов Горького, Остров-

ского и других», «Сталин горько плачет над трупом Кирова», «Карацупа и его любимая собака Индира Ганди», «Кулаки на Красной площади», «Маршал Жуков на белом коне» – все эти картины, Коля, и фотографии исчезли, и на их-них местах появились другие. «Наше гневное „НЕТ!!!“ – кибернетике, генетике, прибыли, сверхнаживе, джазу, папиросам „Норд“, французской булке и мещанству». Рядом «Члены Политбюро занимаются самокритикой», «Жданов сжигает стихи Анны Ахматовой», «Конфискация скрипичного ключа у Шостаковичей и Прокофьевых» и немного повыше «Микоян делает сосиски на мясокомбинате имени Микояна». Я подумал, что в верхах произошли кое-какие изменения и наверняка кого-то шлепнули. Потом оказалось – предгосплана Вознесенского...

Руки у меня затекли. Дотянулся губами до морковки. Пожевал. Понюхал листики. Слышу, какие-то радостные голоса: «Ест! Ест!.. А я уж хотел с женой и детьми попрощаться! Ест! Главное – нюхает! Поздравляю вас, Зиночка, с орденом Красной Звезды!» Я говорю Кидалле:

– Послушай, холодное ухо – горячая печень, если ты меня не развяжешь, то я обижусь и уйду в несознанку!

Нет ответа. Но вот наконец-то «Наше гневное „нет“ – французской булке!» отодвигается от «Иуд музыки нашей», и в камеру на цирлах входит милая, более того, Коля, прекрасная, только что-то уж очень бледная женщина. Молодая. Лет двадцать семь – тридцать пять. Волосы искрятся. Мяг-

кие. Пышные. Русые. Близко-близко ко мне подходит. Я поневоле смотрю снизу вверх. Вижу ямочки на коленках, молока в них налить парного и лакать, и сердце у меня заходило ходуном, если бы не веревки, выскочило бы из ребер! Вижу трусики голубые, Коля, и в глазах потемнело от душной крови. Смотрит женщина сверху вниз на меня связанного, нежно улыбается, присела на корточки, по лицу погладила, я успел пальцы ее холодные поцеловать, и говорит:

– Ну успокойся, милый, успокойся, хороший... Тебя любят... Тебя жалеют... Тебя в обиду никогда не дадут.

– Я, – говорю, – спокоен уже, спасибо, но кто вы? И согласитесь, что связанный по рукам и ногам Фан Фаныч не может вполне соответствовать такой королеве, как вы. Вы похожи, ха-ха, на Польшу до первого раздела!

А она мне, Коля, словно глухая, опять говорит:

– И глаза у тебя как сливы лиловые в синей дымке. Я вижу в них себя. Глубоко-глубоко... На доньшке колодца... Это я плещусь... Это – я... Милое, хорошее, славное, красивое животное... Губы у тебя замшевые... Уши нежные... Ноги сильные...

Что за херня, занервничав слегка, думаю и говорю:

– Развяжите меня, пожалуйста. Руки затекли и, извините, пур ля пти не мешало бы...

Смотрю – берет женщина баночку, расстегивает, вытаскивает, а он стоит, и я никак помочиться не могу.

– Послушайте, – говорю, – вы же можете ответить, до ка-

ких пор я буду связан, и передайте Кидалле, что он, псина мусорная, погорел с делом о кенгуру. Я не Рыков, и не Бухарин, и не Каменев и издевательств не потерплю. Ими меня вообще не удивишь, как говяжьей кровью Микояна на мясокомбинате имени Кагановича.

Помочился лежа. А она снова нежно гладит меня по волосам, перебирает их и мурлычет так нежно, что понт какой-нибудь просечь в ее голосе, Коля, абсолютно невозможно.

– Милое, странное животное... Ты, наверное, скучаешь по своей Австралии... Поэтому у тебя глаза грустные... и лапы дрожат... и сердце бьется... Тук-тук-тук... Совсем как у нас... совсем как у нас...

Я психанул, задергался, но повязали меня крепко, и кричу Кидалле:

– Мусор! Какая каракатица е... твою маму? Какой зверь? Жива ли вообще твоя мама? Если жива, то приведи ее в свои органы! Пусть полюбуется, как ее сыночек пьет кровь из безумной женщины и нормального человека Фан Фаныча! Приведи! Может, крови тебе моей мало? Тогда говна поешь, мочи попей, закуси моим сердцем, пададь!.. А ты, – спрашиваю несчастную, потому что никаких сомнений насчет того, что она поехавшая, у меня не осталось, – ты думаешь, я – кенгуру?

Теперь, Коля, я приведу тебе полностью весь наш разговор.

– Ты думаешь, что я – кенгуру?

– Наверное, мой милый заморский друг, ты мне хочешь что-то сказать?

– Не коси, не коси! Фан Фаныча на понт не возьмешь! Я не кенгуру! Я битая рысь и третья россомаха!

– Только не кусайся... Ай, ай! Тебе бобо... Хочешь что-то сказать и не можешь? Не можешь, бедный? Я понимаю: тебе не хочется лежать связанным. И людям это тоже не по душе. У тебя есть душа?

– Нет! – говорю вслух. – Фан Фаныч не битая рысь. Фан Фаныч – обоссанный котенок. Битой рыси судьба не задела-ла бы такое крупное фуфло и не приделала бы заячьи уши! Битая рысь осталась бы в свое время в Эфиопии, а не испугалась бы итальянских фашистов и не отвалила бы на Советскую Родину. Фраер! Моральный доходяга! Лагерная параша! Ты мог сейчас вот, в эту секунду, пить кофе с императором Селассие, а не валяться в подвалах Чека! Подонок!

– Я тебе не враг. Ты мне нравишься. Ты хо-ро-о-о-ший... Я тебя люблю гладить... Понимаю: ты кажешься себе человеком... Думаешь, я не понимаю?

– Сука! Тебя электрошоком лечить надо! Молчи, а то я тоже поеду! Молчи!

– Зачем же ты губы кусаешь? Дай я вытру пену... Вот так... Ой! Повторяю: тебе – бобо!

– Сгинь, чертила! Сгинь!

– Успокойся... Я за ушами тебе почешу... Приятно? Ты

ведь не знаешь, что мы с помощью оптических преобразований сняли с нервных окончаний твоего гипоталамуса человеческий образ... Бедный. В зоопарке почти все животные, кроме птиц, змей, черных пантер и орлов, воображают себя похожими на людей и совершенно равнодушны к своим зеркальным отражениям... Но ты не человек. Ты – славный, грустный, сильный, злой кенгуру. Но ты не будь злым. Поешь! Не отплевывайся! Без еды ты умрешь, и тете будет тебя жалко! Тетя не хочет, чтобы ты умирал. Поешь, милый, поешь.

– Ну, Кидалла! Ну, хитроумная помесь гиены со всей блевотиной мира! Честно говоря, я тобой восхищен. Молодец! Но ты загляни в свою душу! Загляни! Трухаешь ведь! Не заглянешь! А знаешь почему? Не знаешь! И я не скажу. Помучайся. Попытай меня. Но я и под пытками не скажу, почему ты трухаешь заглянуть себе в душу! Прокурора по надзору давай, гадина! Я голодовку объявляю! Требую прокурора по надзору!

– Ты ведь пятые сутки не ешь. Не хрипи, не хрипи. Я буду кормить тебя насильно. Мы не можем позволить тебе умереть.

– Убей меня, Кидалла! Я плачу и умоляю, убей! Я за одно за это до конца времен буду Бога молить, чтобы простил он тебя и успокоил! Чтобы он успокоил всех, подобных тебе. Убей! Убери женщину! Она же больная! Убей меня, Кидалла!

– Открой рот... открой... Тихо. Так ты голову разобьешь. Это йод. Жжет? А ты не бейся, не бейся... Открывай, гадина, рот, в конце концов. Ешь морковку, скотина проклятая! Извини, но, кажется, в тиграх меньше злобы и ярости, чем в твоей кенгуриной душе! Ешь, говорю!.. А-а-а! Отпусти палец, мерзавец паршивый! Отпусти сейчас же.

– Развяжи, тогда отпущу. Не развяжешь, буду грызть, пока всю руку не отгрызу. Развязывай!

– Больно? И учти: каждый раз, когда ты будешь кусаться или отказываться от пищи, я буду бить тебя током. Вот так! Не нравится? А ты ешь... Не нравится? Я прибавлю ампер. Ну как? Больно? Верно: больно... Бедный зверь, ты сам себе делаешь хуже.

– Ну, суки позорные!.. Дайте мне зеркальце! Дайте мне на одну только секундочку зеркальце! И если я кенгуру, то я все схавая и еще попрошу! Дайте мне очную ставку с Фан Фанычем! А-а-а-а! Дайте мне зеркальце!

Тут, Коля, Фан Фаныча вдруг осенило, что он – фраерюга, недобитая после нэпа, и не вертухаться надо и не прокурора по надзору звать, а косить самая пора пришла. Косить, Коля! Как Фан Фаныч мог угрохать столько нервов и здоровья, доказывая, что он человек с большой буквы, звучащий гордо? Косить, Коля, косить! Но Фан Фаныч забыл начисто, какие звуки издают кенгуру, когда им больно или голодно, холодно или опасно. Забыл! Притих Фан Фаныч, положил голову поудобней на свежее сено, плачет первый раз за эти пятилетки

и вспоминает, но вспомнить никак не может. Отшибло память током у Фан Фаныча.

Чокнутая женщина упала на тахту, умаялась, видно, и уснула. Засмотрелся Фан Фаныч на картинки «Ленин с Крупской на елке», «Изгнание питерскими рабочими дворян из Ленинграда» и тоже закемарил.

И снится ему, что спит он в теплой темноте тишины, сытый, спокойный, и ничего у него не болит, ничего ему неохота. Только вот так бы спать, спать, спать в тепле, в темноте, в тишине, спать, спать, спать. Но кто-то вдруг тормозит Фан Фаныча, толкает в бок раз, другой, будит кто-то Фан Фаныча. Вставай, мол, сукоедина, на развод, конвой замерз. Страшно невозможно. Неохота. В бок толкают, прогоняют из теплой тишины темноты на холодное, на студеное солнышко! А Фан Фаныч шевельнуться не может: руки и ноги у него затекли, и не чувствует он их совсем, совсем. Вот его выворачивают куда-то на мертвый, белый, зябкий свет, подталкивают, отрывают силком, как корку запекшуюся отрывают от болячки, и он зубами цепляется за живую плоть, за шерстинки родимые, мягкие, и вываливается из сумки своей мамы-кенгурихи в мертвую Язу неподалеку от Дома правительства. Сердце Фан Фаныча остановилось от ужаса, но успел он, пока летел через парашют в мертвый смрад, заорать от того же самого ужаса: «Кэ-э-э-э!» – и проснулся. Шнифтами ворокает. Подбегает чокнутая, заглядывает в них, радуется, воды дала попить. Фан Фаныч руку ей лизнул. Ладонку теплую

вылизал. Чокнутая, когда кемарила, между коленок держала ладошку. А то все холодными были у нее руки. Фан Фаныч, не будь идиотом и фраером, еще раз сказал: «Кэ-э-э-э!»

– Вы слышали, товарищ Кидалла? Вы слышали?

– Слышал. Продолжайте адаптировать объект.

Фан Фаныч, мудака, хавал в этот момент морковку и замороженную веточку откусывал, губами листики срывал и от удовольствия шнифты под потолок закатывал. Почему раньше этого не сделал? Непонятно. Мудак, одним словом. И током бы не трясли, и на нервишках сэкономил бы.

– Ешь, солнышко! Я тебя любить буду... я тебя развяжу, если ты перестанешь кусаться и брыкаться. Скажи еще раз свое чудесное «к-э-э-э!».

– К-э-э-э! Всегда пожалуйста, – сказал Фан Фаныч.

– Подследственный свидетель Боленский! Соответствует звук, издаваемый подопытным объектом, одному или несколькими звукам, обычно издаваемым кенгуру в неволе?

– Абсолютно, гражданин следователь! Абсолютно! Тембр! Модуляции! И поразительный феномен кенгуриной артикуляции губ!

– К-э-э-э! – сказал Фан Фаныч и задергался.

– Не дергайся, милый. Развяжу... Ты запомнил, что в этой острой железке – бобо? Бобо... бобо... бобо... не кричи, а запоминай... Давай-ка сначала передние лапы... Вот так... Поворачивайся. Как вспухли! Шевели пальцами, а острым когтем не вздумай царапаться. Бобо? Бобо? Бобо?

– К-э-э-э! – Эх, Коля, какое это счастье, когда развязаны руки и полумертвые вены набухают кровью, и вот потекла она по высохшим моим речушкам и самым тоненьким ручейкам! Потекла, зажурчала моя единственная жизнь!

– К-э-э-э! – говорю, а сам думаю: не бойся, мусорина, Фан Фаныч тебя не укусит. Он мудрый теперь. Развязывай задние лапы, паучиха. Дай-ка я туфельку твою лапой передней поглажу, пыль с нее смахну и прилипший заморский листочек.

– Я ведь говорила, что ты хороший. Я буду звать тебя Кеном. Ладно? Как смешно ты топорщишь губы! И не обижайся. Ты сам виноват, что тебе было больно, упрямый Кен.

И ноги мне она, Коля, тогда освободила от веревок. Но Фан Фаныч – битая все ж таки рысь – не заплясал от радости. Он на карачках прошелся по третьей комфортабельной. Голова у него закружилась, а вообще-то ничего, ходить можно. «К-э-э-э!»

Сутки целые отсыпался, отъедался овощами и фруктами и отдыхал Фан Фаныч. Ходил исключительно на карачках, терся щекой об коленки садистки, нежно теребил губами мочку ее уха, обнюхивал всю, смешно топорщил нос. «Кэ-э-э-э!»

– Кен, ты стал совсем ручным... Ты мило лижешься... Ха-ха-ха! Ты очень мило лижешься! Может быть, я тебя волнуешь? Учти, Кен, мочка уха – эрогенная зона! Ах ты, шалун! Вот я разденусь, а ты погладь меня лапкой... мурашки... мурашки... лизни мою грудь... и другую... теперь под грудью... славный, сильный, нежный кенгуру. Не кусай соски,

не кусай...

Она, между прочим, не одеваясь, сказала:

– Разрешите, товарищ Кидалла, доложить? Эксперимент, проводившийся в течение семи дней, неопровержимо подтвердил нашу гипотезу о частичной, а подчас и полной адаптации подследственного к новым речевым и двигательным функциям после применения прогрессивных методов активного воздействия. Подтверждена также гипотеза о возможности прививки подследственному во время циклической подавленности органического самоощущения кенгуру!

Она докладывала, а я лежал на полу, слушал и радовался, что все страшное позади. Позади.

– Вы можете быть свободны, Зина. Представьте отчет и график дегенерации объекта. А ты, Тэдэ, давай садись за показания. Хватит филонить. Половине человечества жрать нечего, в Индии дети от недостатка белков погибают, больших друзей Советского Союза реакция США в тюрьмы кидает, и не хрена прохлаждаться на всем готовом, когда горит земля под ногами империализма. Понял меня?

– К-э-э! – говорю и на Кырлу Мырлу кнокаю. У него борода еще гуще стала, повзрослел за эти дни. А Ильич, наоборот, лысеть начал, глаза прищуривать.

– Товарищ подполковник, – говорит Зиночка, – я думаю, что быстрая регенерация нежелательна.

– Вы плохо знаете эту бестию, не верю я в его исключительность, лейтенант, виноват, старший лейтенант, но ладно,

пусть отходит. Завтра я его расшевелю. Отдыхайте.

«Гитлер выпивает яд» – картина Кукрыниксов отъезжает, Коля, от «Сталин обнимает Мао», и тут я приноровился и задней ногой такого выдал старшему лейтенанту поджопника, что она, наверное, как волк в «Ну, погоди!», летела от Лубянки до площади Революции. А стена сдвинулась.

Жду. Но никто за мной не канает и не волокет в кандей. Включаю «Телефункен». Давно не слушал родимых последних известий. Странно все-таки было мне, Коля, что доброй славой среди своих земляков пользуется молотобоец, член горсовета Владлен Мытищев, когда труженики Омской области сдали государству на десять тысяч пудов больше, ибо выборы народных судей и народных заседателей прошли в обстановке невиданного всенародного подъема, а партия сказала «надо!», и народ ответил «будет!», следовательно, термитчица коврового цеха Шевелева, протестуя против происков сторонников нового аншлюса, заявила советским композиторам: «Так держать!» Подписка на заем развития народного хозяйства минус освоение лесозащитных полос привело канал Волго-Дон на-гора доброй славы досрочно встали на трудовую вахту в день пограничника фельетон обречен на провал Эренбург забота о снижении цен простых людей доброй воли и лично товарища руки прочь...

У меня, Коля, от этих последних известий – читал Юрий Левитан – мозги встали раком. Но почему бы, Коля, почему, ответь мне, не заработать тогда всем радиостанциям Совет-

ского Союза, почему бы не передать Юрию Левитану сообщение ТАСС о проведении органами государственной безопасности выдающегося эксперимента, в ходе которого были получены доказательства возможности направленной дегенерации высшей нервной деятельности человека и регенерации в его мозгу впервые в истории импульсов самоощущения особи другого вида! Эксперимент проводился на гражданине Советского Союза Мартышкине! Чувствует себя гадина и проказа изумительно антисоветская рожа пульс давление не оказывали артиллерийским залпом в городах-героях! Слава передовой советской науке!

Почему, Коля, Юрий Левитан не передавал такого важного, исторического, можно сказать, сообщения? Пускай бы молотобоец Мытищев и борец за мир Эренбург узнали, как у меня сердце перехватило от страха при виде безумной женщины в белом халате и как оно, слабея, почуяло, что, наверное, не одолеет всенародный подъем в День пограничника. И пускай бы народные заседатели дотронулись языками до острой железки-бобо, которой трясли мое тельце током, и пускай бы народные судьи превратились вместе с термитчицей горячего цеха на миг в побитое животное кенгуру, и побито жевали бы заморские листочки, и выблеывали бы их на казенный пол третьей комфортабельной вместе с застрявшими в бронхах остатками человеческой души, а потом подписались бы на заем развития народного хозяйства... Ладно. Отодвигается вдруг, Коля, «Карацупа и его любимая собака

Индира Ганди» от «Вот кого уж никак нельзя заподозрить в симпатиях», и в камеру мою рыбкой влетает курчавый смешной человек. Стукается лбом об «Утро на заре рассвета рабочего движения в Москве». Садится на «Телефункен», хватается за голову и говорит:

– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал?

Набираю ногтем твой номер, Коля, и говорю Кидалле:

– Докладывает рядовой МГБ Тэдэ, он же кенгуру Кен. Регенерация прошла успешно. Чувствую себя человеком. Наблюдаю усиленный рост бороды на лице гражданина Кырлы Мырлы, с которым в преступном сговоре переделать весь мир не состоял, первый раз вижу. Всегда готов встать с головы на ноги. Посвящаю себя столетию со дня рождения и смерти Маленкова. Ура-а-а-а!

– Я же тебе сказал, фашистское отродье, – отвечает Кидалла, – что этот телефон исключительно для внутренних раздумий и сомнений. Органам и так известно, что с тобой происходит. Не забывай о процессе. Ты хотел познакомиться с низкопоклонником Норберта Винера Карцером. Карцер перед тобой.

– Ах, значит, это вы господин-гражданин Карцер, – говорю я смешному курчавому человеку с глазами барана, прибывшего на мясокомбинат имени Микояна. – Гутен морген, гражданин-господин Карцер. Кто вам помогал забыть Ивана, не помнящего родства? А?

– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? – уставившись

бараными глазами в «Позволительно спросить братьев Олсеп», бормочет Карцер.

– Встаньте, – говорю, – и сядьте на стул, не превращайтесь в уткуноса, он же сумчатый гусь-лебедь. Стыдно!

– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? – долдонит и долдонит Карцер, а я говорю:

– Послушайте, нельзя задавать органам таких вопросов. Вообще никаких вопросов не надо задавать! Иначе быть беде! Вы член кассы взаимопомощи? – Я решил, Коля, что Карцеру необходимо побыть в моей шкуре.

– Естественно. Кто в наше время не член кассы взаимопомощи? – вдруг, ожимши, отвечает Карцер.

– Когда последний раз брали ссуду?

– Перед Женским днем.

– Сколько?

– Две тысячи, а что?

– Фамилия?

– Карцер.

– Который?

– Валерий Чкалович. Папа изменил мое отчество в знак уважения к великому летчику.

– Итак, перед Женским днем вы, Валерий Чкалович, недовольные тем, что за подписку на заем с вас выдрали всю получку, растерзали прогрессивку и расстреляли квартальные, получили ссуду в две тысячи рублей. С рассрочкой?

– До Дня медицинского работника.

- Вам известно, что за деньги находились в кассе взаимопомощи вашей секретной лаборатории?
- Очевидно, бывшие в обороте кассы.
- Чем пахнут деньги, по-вашему?
- По-моему, ничем. А что вас все-таки интересует?
- Меня интересует факт получения вами из сберкасс взаимопомощи денег, не пахнувших ничем, но принадлежащих швейцарской разведке!
- Боже мой!
- Кто из ваших сотрудников в дни получек говорил: е... я кассу взаимопомощи?
- Уборщица Танеева, сантехник Рахманинов Ахмед и физик-теоретик Равель.
- Вот они-то и останутся на свободе. Есть у нас все ж таки настоящие советские люди! Вы расписались в получении ссуды?
- Конечно. Честное эйнштейновское! Честное курчатовское! Но что вас все-таки интересует?
- Хватит финтить, Карцер! Хватит уходить от откровенности! Пора кончать с инфантилизмом тридцатых годов!
- Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал?
- Я отвечу на ваш вопрос, но не раньше, чем мы убедимся, что нас не видят и не подслушивают профсоюзы. Они возомнили себя, видите ли, школой коммунизма! Тогда как последней являемся мы, органы!
- Совершенно справедливо! Наш парторг Бахмутова –

ваш секретный сотрудник! Что я должен сделать в плане борьбы с инфантилизмом тридцатых и двадцатых годов?

– Плюньте три раза и размажьте сопли вон на том цветном фото.

– На «Вот кого уж никак нельзя заподозрить...»?

– На это и дурак невинный плюнет. На другое, которое слева. Да, да!

– На это фото я отказываюсь плевать категорически. Это – святотатство! Глумление и самооговор! «Рабочие ЗИСа получают прибавочную стоимость» – гордость нашей фотографии! Я не могу! Разрешите плюнуть на «Изобретатель Эдисон крадет у гениального Попова граммофон»?

– Не разрешаю. Если вы не харкнете на «прибавочную стоимость», мы уничтожим вашу докладную записку о целесообразности создания программного устройства, моделирующего суровые приговоры врагам советской власти задолго до предварительного следствия.

– Только не это! О нет! Только не смерть моего любимого детища! В конце концов, прибавочная стоимость не перестанет существовать от одного и даже от трех плевков и зисовцы будут ее регулярно получать. Правда, товарищ?

– Я тебе не товарищ! Я тебе гражданин международный вор Фан Фаныч. А товарищ твой в Академии наук на параше сидит и на ней же в загранку летает! Ясно?

– Абсолютно ясно. Однозначно вас понял. Я чувствую, гражданин международный вор, что вы знакомы с электро-

ником и нам есть о чем поговорить.

– Рассказывайте, Валерий Чкалыч!

– Что?

– Все!

– Что я сделал? Не мучайте же меня неизвестностью! Что я сделал?

– Вы сконструировали, Валерий Чкалыч Карцер, ЭВМ, которая прекрасно себя зарекомендовала на службе в наших органах и высвободила, таким образом, немало рабочих рук из предварительного следствия. Это дало нам возможность перевести их на кровавую исполнительную деятельность и в сферу надзора. Что вас заставило сконструировать ЭВМ?

– Категорический императив постигнуть тайны материи, объективное состояние научной мысли на сегодняшний день, различные философские и социально-правовые предпосылки, полный апофеоз позитивизма, а также жажда ускоренного развития эстетики количества. Количество – прекрасно! Кроме всего прочего, я хотел бы, чтобы это осталось между нами, гражданин международный вор Фан Фаныч, мы не можем ждать милости от природы. Взять ее у нее – наша задача!

– Вы и ваши близкие подвергались когда-либо нападению одного или нескольких грабителей?

– Простите, но какое это имеет отношение к делу, к которому я, в свою очередь, не имею никакого отношения?

– Молчать! Вопросы задаем мы!

– Только один вопрос, гражданин Фан Фаныч!

– Ну!

– Вы слушали Седьмую?

– Седьмая отсюда не прослушивается. Слева от нас, очевидно, вторая, справа – четвертая.

– Извините, но я имел в виду Седьмую Шостаковича. Симфонию.

– Интересное обстоятельство. Итак, уже во время блокады, успешно руководимой товарищем Ждановым, вы слушали Седьмую симфонию Шостаковича.

– Вам это известно?!

– Нам известно все. Мы читаем «Гудок» и «Таймс». Продолжайте.

– Недавно я возвращался из большого Георгиевского дворца, где товарищ, извините, гражданин Шверник вручил мне... можно ли здесь произносить это имя? Орден Ленина. На одной из темных улочек Зарядья я был остановлен неизвестным, вежливо попросившим у меня прикурить. Он долго прикуривал свою сигарету от моего «Норда», виноват, «Севера». Возвратившись домой, я обнаружил исчезновение с лацкана пиджака... мне трудно об этом говорить... Да! Я тут же заявил куда надо... Больше всего меня удивило то, что, прикурив, неизвестный приятным голосом произнес: «Благодарю вас!» Мне возвратят орден?

– Скоро будет обмен орденов, поскольку они девальвированы, и вы получите новый. Орден Норберта Винера. Воз-

вратимся, однако, Валерий Чкалович, к вашей мысли насчет «не можем больше ждать милостыни от природы». Знаете, что такое грабитель? Грабитель – это ленивый, нетерпеливый и нервный нищий, которому надоело ждать милостыни, и он решил нагло взять ее у прохожего барина, или у рабочего, или у колхозника, или у интеллигента сам, своею собственной рукой. Взял. Вдарил микстурой по темечку. Вышел из-за угла на нового прохожего. Потом на другого, третьего, на четвертого. Взял тот нищий денежку, считая ее своей законной милостынькой, у девушки, взял пенсию у старушечки, взял денежный перевод от сына у дедушки, взял новогодний гостинец у мальчика. Прохожие испугались да и перестали ходить по Большой Первой Конной улице. Ленивый нищий на проспект Коллективизации направился, там всех распугал, потом на улице Павших героев, на площади Индустриализации и в проходных дворах начал грабить. Всех прохожих, в общем, переграбил и перемикстурил. Опустел город. Не у кого больше отныкивать милостыньку ленивому нищему. Некому даже ее ему подавать. И подход тот нищий от голода, холода и струпьев, потому что он не хотел и не умел зарабатывать себе на жизнь, а ждать милостыньку было ему лень. И, подыхая в тупике имени «Нечева терять, кроме своих цепей», взмолился он тихо и виновато: «Прости меня, Господи, за убиенных прохожих и пошли ты мне хоть одного приезжего с кусочком хлебушка, молю тебя, Господи!» Господь Бог слышал ту молитву и глубоко скорбел, ибо при-

езжего послать нищему не мог по причине для Бога весьма таинственной. Не ведая зла, не ведал Бог, что ленивые нищие Ленинграда, Сталинграда, Свердловска, Калинина, Молотова, Фрунзе, Кирова и других городов перемикстурили и переграбили всех своих прохожих до такой степени, что последние физически никогда уже не могли стать приезжими. Опустела земля...

Задумался, Коля, на минуту Валерий Чкалович, но ни хрена – ясно мне это было – не дошло до него.

Тогда я по новой говорю:

– Вернемся к кассе взаимопомощи. Машина, которую вы сочинили, на основании всех исходных данных о вашей личности смоделировала преступление, предусмотренное статьями 58, п. 1а; 58, п. 10; 58, п. 14; 167, п. 2. Вы обвиняетесь в том, что, вступив в 1914 году в преступный сговор с лицом, впоследствии оказавшимся Григорием Распутиным, систематически развращали фрейлин двора, участвовали в пикниках с лидерами эсеров, где и обещали Плеханову портфель министра по делам Австралии, и всячески саботировали производство «катюш» на заводах Форда. За услуги по сбору информации о личной жизни Лемешева и Жданова, оказанные папуасской разведке, вы получили гонорар из кассы взаимопомощи, в чем и расписались. Признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях и согласны ли с суровым приговором: высшая мера социальной защиты – расстрел?

Ты бы покнокал, Коля, что стало твориться с Валерием Чкалычем. Нет, он не хипежил, не рыдал, в обморок не падал, а стал с пеной у рта доказывать, что обвинение внутренне противоречиво, что оно – плод несовершенного еще алгоритмирования, что наши полупроводники выходят из строя чаще американских и что с Распутиным он никогда не был знаком. Но я его, гада, припер-таки к стенке.

– Выходит, – говорю, – вы сконструировали машину для заведомого ошельмования советских людей, и по вашей вине уже расстреляны 413 851 человек и столько же находятся в живой очереди на ликвидацию? Вот вы тут долдонили: «Что я сделал? Что я сделал?» А надо было тогда, когда вы решили не ждать милостыни от природы, спросить себя: «Что я делаю? Что я хочу сделать?» Вы знаете, что вместе с вами на скамье подсудимых будет сидеть сам Андрей Ягуарович Вышинский по обвинению в заражении рядом венерических болезней работниц «Трехгорной мануфактуры» и в попытке покушения с помощью народных средств на презумпцию невиновности! И партия вам этого не простит!

– Будь проклят миг, когда мама почувствовала во мне физика! Будь проклят позитивизм! Будь проклята наука! Что я наделал! Дайте мне новую жизнь, и я с протянутой рукой буду просить по долинам и по взгорьям милостыню у природы! Дайте мне новую жизнь и скажите, при чем здесь я и папуасская разведка?

– А при чем здесь, сука ты ученая, я и кенгуру? – спраши-

ваю, в свою очередь, Валерия Чкалыча, и надоел он мне, рванина, хуже горькой редьки. Ходит, что-то шепчет и заплевал все фотографии на стенах.

А от Кидаллы ни звука. Кидалла молчит. Включаю «Телефункен», ловлю Лондон и узнаю, что в данную минуту в Кремле происходит Всесоюзная конференция карательных органов, на которой доклад о дальнейшей механизации и автоматизации работы органов делает товарищ Кидалла. Послушали мы через Лондон и сам доклад. Потом были прения, но их заглушила радиостанция английской компартии, которая считала, Коля, что наши массовые репрессии не имеют ничего общего с теорией и практикой социалистической революции, что приходить от них прогрессивному сознанию в ужас в высшей степени преступно. Руки, мол, прочь от исторической необходимости, сволочи международной арены!

А Валерий Чкалыч между тем, Коля, поехал. Мне его даже жалко стало. Я ему говорю, что если бы не ты, я бы еще ждал и ждал своего часа и не знал бы, не ведал, что я являюсь убийцей и насильником заключенных животных. И мне, говорю, – в гробу я видел твою тягу просечь тайны материи – не легче оттого, что если б не ты, то другой мудила с заливными любопытством глазами допер бы до создания ЭВМ для МГБ, которая, как ты видишь, дорогой Валера, и тебя самого жестоко погубила. Погубила, и не видать теперь тебе ни конторских счетов, ни родного арифмометра, ни тихого чая по вечерам за чтением разгневанной «Вечерки», не видать тебе

ни закрытых симпозиумов, ни открытых партсобраний, ни вождей Первого мая и Седьмого ноября, ни сеанса одновременной игры с Ботвинником и законного морального разложения с субботы на воскресенье. Раз надоело тебе на пальцах считать, то вот и получай от своего любимого быстродействующего детища за связь с папуасской разведкой через кассу взаимопомощи. Получай, пытливый ум, получай!

Только я ему это сказал, Коля, как он вдруг харкнул на «Паша Ангелина в Грановитой палате примеряет корону Екатерины II», потом на «Нет – Вадиму Козину!», встал по стойке смирно, отдал честь полотну «Органы шутят, органы улыбаются» и говорит:

– Разрешите доложить, товарищ Сталин, что прошу вас разрешить доложить вам о том, что докладывает зам генерального конструктора Валерий Карцер. Мною прокляты последние достижения научной мысли, на оккупированных территориях сорваны погоны с шинели Акакия Акакиевича, выше честь нашей партии, и всех к позорному столбу трудовой вахты самокритики. Вынашивал. Прикидывал. Силился. Сливался. Так точно! Жил под личиной! Брал под видом выведения в НИИ красоты – почтовый ящик номер восемь – родинок капитализма. Являлся змеей на груди партии и народа по совместительству. Неоднократно втирался и переходил барьер непроходимости общественных уборных, формулы оставлял, одновременно сожительствовавал. Разрешите забрать пай, а рабочие чертежи уничтожить. Есть – расстре-

латься по собственному желанию!

Смотрю, Коля, раздевается мой Валерий Чкалыч до трусиков и встает к стенке. Закрывает своим телом «Кухарки учатся руководить государством» и акварель «Сливочное масло – в массы!» и говорит:

– Готов к короткому замыканию!

Я понял, что мозга у него пошла сикись-накись, как в электронной машине, и сам перетрухнул: пришьет еще Кидалла за вывод из строя важного государственного преступника вышака, и тогда ищи гниду в портмоне, где она сроду не водится.

– Валера, – говорю, – не бэ! Все будет хэ! Попей водички, голубчик, иди, я тебя спать уложу, извини, что такую злую тебе покупку с кассой взаимопомощи заделал, но пойми, обидно мне было ждать чуть не двадцать пять лет своего дела, а вынуть из колоды кенгуру.

До меня из «Телефункена» бурные аплодисменты доносятся через Лондон со Всесоюзного совещания карательных органов и оттуда же, представь себе, Коля, звучит голос самого Валерия Чкалыча с комментариями Кидаллы:

– Можно смело сказать, дорогие товарищи и коллеги из стран народной демократии, что человек-надзиратель ушел в далекое прошлое. Ему на смену пришли последние достижения научной мысли. Это дало нашим подследственным возможность полностью самовыражаться, не испытывая пресловутого комплекса застенчивости – антинародной выдум-

ки Ивана Фрейда, не помнящего родства. Рабочие и инженеры номерных заводов могут смело гордиться своими золотыми руками, давшими нам телекамеры и магнитофоны, ЭВМ и усилители внутренних голосов врага!

Тут на голос моего Валеры снова наложился бурные, продолжительные опровержения Французской компартии, и я возьми да гаркни:

– Объявляется перерыв. Почтим сутками вставания память товарищей Дзержинского, Урицкого, Володарского, Менжинского, Ежова, Ягоды и его верного друга и соратника собаки Ингус! Все – в буфет!

И веришь, Коля, застучали стульями наши куманьки, затопали ногами, им ведь тоже жрать охота и выпить, но Берия очень так громко – из президиума, наверное, – хохотнул и сказал:

– Как видите, товарищи, наши враги, даже припертые к стенке, не теряют чувства юмора. Но, как указывает лучший и испытанный друг наших органов, дорогой и любимый Сталин, смеется тот, кто смеется последним!

Тут раздался общий веселый смех, слышу: все встали и запели «У протокола я и моя Маша». Щелкнуло вдруг в приемнике, что-то затрещало, лязгнуло, зашумела вода, смотрю: нема в камере Валерия Чкалыча Карцера.

Теперь он тоже академик, такой красивый, седой, руководит каким-то центром статистических расчетов, ведет телепередачу «Вчера и сегодня науки», а тогда я слышал по «Те-

лефункену», как Мексиканская, Голландская, Гренландская и Папуасская компартии захлебывались пеной во рту и доказывали, подонки, что совещания такого быть в Кремле не могло, а оно замастырено отщепенцами, избежавшими возмездия, с радиостанции «Свобода». Инсценируют, так сказать, историю КПСС ее злейшие враги.

Ты извини, Коля, я, конечно, растрекался, а ты не любишь политику хавать, но вот давай сейчас выпьем за тапиров, морских тюленей и птичку-пеночку, и чтобы под амнистию после смерти какого-нибудь хмыря попали в первую очередь они, а потом уж мы с тобой, если, не дай бог, подзалетим по новой, а уж потом пускай попадают под амнистию академики, писатели, полководцы и продавщицы пива.

Сука гуммозная Нюрка у нас на углу каждый раз грамм пятьдесят лично мне недоливает, и что я ей такого сделал, не понимаю? И вообще, не желаю с той же самой пеной у рта требовать отстоя пены после долива пива! Может, еще и на колени встать перед вонючей цистерной? Как им, паскудам, хочется унижить нас с тобой, Коля, даже по мелочам, по мизеру! Не дождутся они, чтобы старый международный урка и Коля Паганини требовали долива пива после отстоя пены! Мы лучше цистерну украдем и Гвардейской Кантемировской дивизии подарим. Пускай солдатики пьют и писают. В казарме, Коля, хуже, чем в тюрьме, но намного лучше, чем в зоопарке.

Душа моя, конечно, я опять подзавелся, но как же, скажи,

не подзавестись, если мы проходим по целому ряду сложнейших предварительных следствий с гордо поднятыми головами, превращаемся в кенгуру, но не продаем в себе человека, освобождаемся, работаем, и вдруг – на тебе! Требуй отстоя! Да я за всю жизнь требовал пару раз только жареного прокурора по надзору, и то зря и по глупости, чего простить себе не могу! Давай-ка, между прочим, позавтракаем. Эх, Коля! Баланда на свободе называется бульон! Выпьем за белок, соболей и куниц. Я не могу смотреть, как они мечутся в клетках.

И я тогда метался, вроде соболя, по своей третьей комфортабельной камере без окон, без дверей, и по новой сейчас забыл, был там потолок или не был. Мечусь и мечусь, смотрю себе под ноги в одну точку, пишу веселый сценарий процесса или же стараюсь кемарить, чтобы не видеть картинок и фотографий, заляпавших все четыре стены сверху донизу. К тому же Кырла Мырла все волосател и волосател на моих глазах, и вот уже сесть борода у него потихоньку начала, а Ленин, наоборот, активно лысел и лысел. Невыносимо было мне смотреть на картинки, невыносимо. Как я не поехал, а остался нормальным человеком, до сих пор понять не могу. Картинки-то эти все время менялись. Ты представь, Коля, себя на моем месте. Вдруг, ни с того ни с сего, «Паша Ангелина в Грановитой палате примеряет корону Екатерины II» исчезает и проступает на ее месте «Носильщики Казанского вокзала говорят Троцкому: „Скатертью дорожка, Иуда!“».

Или же «Карацупа и его верный друг Джавахарлал Неру» из правого нижнего угла взлетает в угол левый верхний, и круглые сутки продолжается этот адский хоровод. «По рекам вражеской крови отправились в первый рейс теплоходы „Урицкий“, „Володарский“, „Киров“ и многие другие». «Нет – фашистскому террору в Испании!» «В муках рождается новая Польша». «Запорожцы пишут письмо Трумэну». «Хлеб – в закрома!» «Уголь – на-гора!» «Все – на выборы!» Коля, я уж стал повязку на глаза надевать, лишь бы не лезла в них вся эта мерзкая ложь, нечеловеческое дерьмо разных здравниц, монолитное единство партии и народа, свиные бесовские рыла вождей, льстящих рабам и ихнему рабскому труду, стал повязку надевать, чтобы не выкалывали мои глаза оскверненные слова великого и любимого моего языка, чтобы не оскорбляли они зрачков и не харкали в сердце и душу. Хипежить я уж не хипежил больше. Бесплезно, сам понимаешь.

Кидалла про меня забыл. Но вдруг по радио Юрий Левитан раз в полчаса в течение недели начал повторять:

– Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.

Тут международный урка Фан Фаныч закукарекал, почувял, что скоро начнется его процесс! У меня на это чутье, дай бог! Ни с того ни с сего не стал бы долдонить Юрий Левитан «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» по двадцать раз в день. Не стал бы! Не такой он у нас человек-микрофон!.. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Кстати, Коля, все наоборот: оно неверно, потому и всесильно. А учения истинные всесильными в каждый миг времени, к сожалению, не бывают.

– Ну, урка, ничего не забыл про кенгуру? – спрашивает вдруг Кидалла.

– Как же, – отвечаю, – забыть, если сам побывал в кенгуриной шкуре. Готов присесть на скамью подсудимых и встретиться с самым демократическим в мире правосудием! Готов прочитать дело и подписать дорогую двести шестую статью УПК РСФСР.

«Сталин позирует группе советских скульпторов» от «Крыс в чащобах Нью-Йорка» отодвигается, и рыло – несколько месяцев его не видел – говорит: «С вещами!»

Как везли меня в суд и где он находился, я, Коля, до сих пор не знаю. Очнулся я после вдыхания какого-то сладкого газа прямо на скамье подсудимых, за барьером из карельской березы. Скамья сама по себе мягкая, но без спинки, а это в процессе раздражает неимоверно, и не знаю, как ты, а я от этого чувствую отвратительную за собой пустоту. Поднимаю голову и прищуриваюсь. Мне было некоторое время невыносимо смотреть в глаза собравшимся людям. Очень все интересно. В первых рядах сидят представители всех наших союзных республик в национальных одеждах. Чалмы, папахи, косынки, бурки, косоворотки, унты, тюбетейки, ширинки, халаты и, в общем, кинжалы. За ними рабочие в спецовках. Концами руки вытирают, из-за станков, так сказать, только что вышли. Колхозницы с серпами. Интеллигенты с блокнотами. Писатели. Генералы. Солдатики. Скрипачи. Много знакомых киноартистов. Балерины. Кинорежиссеры. Сурков. Фадеев. Хренников. За ними представители, как я понял, братских компартий и дочерних МГБ. Телекамера. По залу носятся два хмыря, которых распирает от счастливой занятости. Делают распоряжения. Что-то друг другу доказывают. Решают, суки, художественную задачу.

Вдруг заиграл свадебный марш Мендельсона, в зал вбежали пионеры с букетами бумажных цветов. Лемешев пропел:

«Суд идет! Су-у-уд и-и-и-дет!» Все, разумеется, и я в том числе, встали. И по огромной винтовой лестнице, символизирующей, Коля, спиральный процесс исторического развития, спустились вниз и уселись на стулья с громадными гербовыми спинами председательница – мышка, а не бабенка – и двое заседателей: старушенция и здоровенный детина в гимнастерке и кирзовых сапогах. Выбрали в полном составе почетных заседателей – членов Политбюро во главе со Сталиным. Затем стороны уселись. Прокурор в форме и с желто-черными зубами. Барабанит пальцами по столу. Смотрит в потолок и всем своим видом как бы намекает на то, что в этом зале только он кристаллически честный человек, а остальных он, если бы мог, приговорил сию секунду, не отходя от кассы, к разным срокам заключения в исправительных лагерях. Защитник же мой тоже думает о присутствующих как о неразоблаченных преступниках, но, в отличие от прокурора, с жалостью и пониманием и как бы внушая, что лично он готов исключительно профессионально оправдать всех или же с ходу снизить нам сроки заключения.

Забросали пионеры два тома моего дела цветами, вручили букеты судьям, прокурору и конвою. Защитнику цветов не хватило. Тогда прокурор подошел и поделился с ним хризантемами. И – понеслась!

Именем такой-то и сякой республики... слушается в открыто-закрытом судебном заседании дело об обвинении гражданина Гуляева, он же Мартышкин, он же Каценеленбо-

ген, он же Збигнев Через-Седельник, он же Тер-Иоганесян Бах, две страницы, Коля, моих рабочих следственных кликух прочитали, пока не остановились на последней: Харитон Устиныч Йорк.

Старуха-заседательница, это она, если помнишь, когда я шел к Кидалле на Лубянку, заметила мой «не тот, не наш» взгляд, которым я давил косяка на Кырлу Мырлу, стоявшего в витрине молочного магазина, старуха и сказала на весь зал, услышав, что я Х. У. Йорк: «Это – распад!»

Председательница-мышка после этого продолжала: по обвинению в преступлении, не предусмотренном самым замечательным в мире УК РСФСР, по эквивалентным статьям 58 один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее с остановками по следующим пунктам: а, б, в, г, д... Далее без остановок. В том, что он в ночь с 14 июля 1789 года на 9 января 1905 года зверски изнасиловал и садистски убил в Московском зоопарке кенгуру породы колмогорско-королевской по кличке Джемма, а также является соучастником бандитской шайки, отпилившей в первоймайскую ночь рог с носа носорога Поликарпа, рождения 1937 года, с целью превращения рога в порошок, резко стимулирующий половую активность работников некоторых московских театров, Госфилармонии и Госцирка... Подсудимый Йорк полностью признался в совершенных преступлениях...

Тут, Коля, я возмущенно захипежил нечеловеческим голосом:

– Рог не отпиливал! Первый раз слышу! Мусора! Шьете лишнее дело! Ваша масть бита!

Но, веришь, никто меня не осадил, наоборот, все, даже прокурор и председательница-мышка, заплодировали, потом тихо зазвучал полонез Огинского, все во мне похолодело, душа оборвалась, и я почувствовал, Коля, первый раз в жизни, острее и безнадежней, чем в третьей комфортабельной, что я смертельно одинок, смертельно беззащитен и что какие-то дьявольские силы цель свою видят в том, чтобы широкие народные массы весело отплясывали «яблочко» на моем одиночестве, на моей беззащитности, на единственной жизни моей!

Но, сучий ваш потрох, поддержал я в тот момент свою обрывающуюся душу, Фан Фаныч вам не Сидор Помидорыч! Вы пляшите, вы танцуйте на нем! Топчите его, читайте книжечки, как по йогу проехал грузовик и ни хрена йогу не было! Читайте книжечки и рукоплещите другому йогу, которого в закрытом сундуке бросили в море, но йог сундук раскурочил и выплыл со дна Индийского океана. Читайте, топчите, пляшите на моей смертной и слабой груди! Вашим йогам даже присниться не могут такие тяжелые грузовики, под которыми стонет и плачет душа Фан Фаныча от боли и обиды. По коридорам Лубянок ходить – это вам не скакать по битому стеклу и углям раскаленным! А читать пришитое к живому телу дело – не серную пить кислоту. Вашим йогам даже присниться не могут пять, десять, двадцать сундуков,

в которых побывал за свою жизнь Фан Фаныч. В которые его запирали – не отопрешь – и кидали на дно мертвых рек, морей и океанов. И выбирался Фан Фаныч, представьте себе, каждый раз выбирался, выплывал под Божье солнышко, отфыркивался, «Слава Тебе, Господи», – говорил, и радовалась спасению чудесному исстрадавшаяся душа моя! Так что валяйте, гуляйте! Ребрышки Фан Фаныча не затрещат под вашими грузовиками. Раскурочит он лукаво любой ваш хитроумный сундук и вылетит ласточкой из адской бездны! А йогам передайте, чтоб срочно выезжали тренировать свою волю, силу и мужество на свободе советской жизни, на предварительных следствиях и на общих работах в исправительно-трудовых лагерях. А уж Фан Фаныч, поскольку человек он добрый, поднатаскает бедных йогов, как впадать до утра на жестких нарах в нирвану... Так я подумал, пока мышка-бабенка что-то долдонила из обвинилочки, и повеселел. Как всегда, повеселел. Ваше дело запирать, наше дело – отпирать! Чего я зеваю, в конце концов? Такое идет чудесное представление!

Значит, сознался я во всех совершенных преступлениях полностью, и материалами предварительного следствия было установлено, что подсудимый Йорк Харитон Устинович...

Тебе, Коля, я думаю, тошно слушать обвинилочку. Поэтому давай лучше устроим небольшой перерыв в судебном заседании и разберемся с носорогом Поликарпом, родившим-

ся в том ужасном тридцать седьмом году, чтобы больше к нему не возвращаться.

Дело было под Первое мая. Войска к параду готовились. На улицах танки, гаубицы, амфибии, солдаты, офицеры, мотоциклы, лошади и генералы. Сталин у Буденного усы проверяет на распушаемость и сам пуговички на кителе надраивает. Во всех учреждениях повесили бдительность. Берия два дня ни одного шашлыка не съел, цинандали не пил и лично никого не допрашивал. Сидел неподалеку от зоопарка в своей вилле и думал: «Скорей бы второе мая».

Вождям, Коля, почему-то кажется, что враги только и мечтают, как нам омрачить праздники Первое мая и Седьмое ноября, а также напакостить перед выборами в Верховный Совет и в нарсуды. Но в стране – полный порядок. Просто полнее некуда. Мавзолей не взорван, мост через Волгу – тоже, водопроводная вода городов-героев не отравлена кока-колой. Колбаса и сосиски стали не теми, что до войны, далеко не теми, но жить можно. Граница на замке, ключ от него в страусином яйце, страусиное яйцо в Музее революции, революция – в семнадцатом году, ход истории никому не обратить вспять, а на самого страуса нам вообще накакать. В общем, полный порядок в стране.

И вдруг в ночь на первое мая: «Пиф-паф! Пиф-паф!» Солдаты в танках, которые дрыхли, проснулись и моторы завели. Боевая тревога! Сталин тоже услышал выстрелы и будит Берию: «Кто стрелял?» Берия спросонья отвечает:

«Эсерка Каплан». «Я спрашиваю, кто сейчас стрелял?» – «Выясняем, Иосиф Виссарионович». Выяснили. Берия докладывает по телефону: «Стрелял сторож зоопарка Рыбкин. Говорит: „Я после белой горячки. Показалось, что носорога хотят стырить“. Беспартийный. Три ранения. Боевые ордена пропил на Тишинском рынке. Осталась только медаль „За оборону Сталинграда“. Ваша любимая, Иосиф Виссарионович. Одним словом, белая горячка!»

– Нет дыма без огня. Белые всегда горячились, – говорит Сталин, – наша разведка вычитала в произведениях так называемого Хемингуэя, что рог носорога делает миллионеров мужчинами. Не здесь ли разгадка двух выстрелов товарища Рыбкина? Осмотрите животное.

Осмотрели. Всю Академию наук на ноги подняли. Оказалось, прав был Сталин на этот раз! Отпилили рог у носорога неизвестные бандиты прямо перед парадом и демонстрацией! Взяли академики у него кровь, клизму поставили и нашили во всем этом деле большую дозу сильнейшего наркотика. Парад военный и демонстрацию, конечно, провели, но вожди на трибуне были какие-то квелые, еле руками махали любимым своим и родным советским людям и на Сталина виновато смотрели. Упустили, мол, зоопарк из поля зрения, извините уж, ошибку исправим, партсобрание проведем в секции хищных животных, найдем бандюг. Усилим наблюдение за площадкой молодняка...

Найти бандитов, конечно, не нашли, но Берия быстро за-

мастырил дела на бедных педерастов из театров оперетты, цирка, консерватории и на целую толпу пожилых зубных врачей. Они на вопрос «Зачем вам столько денег и золота?» не смогли ответить, и органы сделали логический вывод: значит, для покупки носорожьего порошка. Разумеется, врачи раскололись. Их бормашиной пытали. Ты спрашиваешь, Коля, при чем здесь я? Меня обвинили как соучастника, спившего сторожа Рыбкина с целью усыпления его бдительности в дальнейшем. По своему-то делу я действительно спивал, пока не стал своим человеком в зоопарке, но насчет соучастия в отпиливании рога я решил отмазываться до последнего вздоха. Принципиально. На рог я не подписывался. Электронная машина мне этого дела не нагадывала, и в сценарии моем такой сценки тоже нету.

Ну, Коля, тост за того несчастного носорога Поликарпа. И вернемся к моему процессу.

Рассказал я сначала, где родился и где крестился.

Старуха-заседательница. Почему, подсудимый, вы – Йорк?

Я. Я полумордва, полуангличанин. И прочитайте начальные буквы моего имени, отчества и фамилии.

Старуха-заседательница (*написав и прочитав*). Это – распад! Это слово на букву «хэ»!

Представитель чукчей (*из зала*). Ты почему моржиху не захотел изнасиловать? (*Аплодисменты*).

Я. Моржихи мне глубоко несимпатичны, и еще по одной

причине, о которой я могу сказать только при закрытых дверях.

Прокурор. Перед тем как включить проектор и ознакомить присутствующих с киноматериалами дела, я хочу сказать несколько слов о принципиально новом жанре кино, при рождении которого всем нам выпала присутствовать честь. Автором сценария выступил сам подсудимый Х. У. Йорк. Разумеется, и следователи, которым пришлось на некоторое время стать кинодраматургами, и кинодраматурги, ставшие следователями, внесли некоторые коррективы в основной преступный замысел подсудимого. Не все в нем было гладко, не все соответствовало эстетическим нормам ведущего направления в искусстве нашего века – соцреализма. Но творческая группа, преодолев все трудности, выносит сегодня на суд народа свое произведение. Имена его создателей до времени останутся неизвестными. Всем им присуждена Сталинская премия первой степени. Да здравствует лучший друг важнейшего из искусств, мудрый продолжатель дела Маркса и Чаплина, Энгельса и Де Сики, Ленина и Всеудовкина – великий Сталин! Смерть Голливуду!

Зашевелились, Коля, на окнах черные шторы, погас свет, и начался журнал «Новости дня». Кто-то выплавил первую тонну чугуна... Какой-то колхозник сам отказался от своих трудодней и весь колхоз призвал поступить так же... К чабанам в горы пришла мясорубка... Лондон рукоплескал Улановой. Чарли Чаплина затравил сенатор Маккарти... Совет-

ские евреи дружно не хотят присоединяться к Израилю. А после журнала пошло кино, от которого стало мне душно... Вольер в зоопарке, вытоптанная животными желтая трава, кормушка, вроде умывалки в пионерлагере, и рядом с ней мертвая кенгуру... Над трупом стоят и плачут администрация зоопарка, научные сотрудники и юннаты... Вдруг к вольеру с воем сирен подъехали две черные «Волги» и спецмашина. Из нее выскочили проводники с овчарками и разные спецы с приборами... Из «Волги» вышел в штатском Кидалла, всех стоявших у кенгуру тут же велел взять, и их затолкали в спецмашину... Пошли крупные планы... Кидалла достает из сумки бедной Джеммы гранату-лимонку и торжественно вынимает у нее взрыватель. Зал ахнул и зааплодировал... Голова Джеммы с закрытыми глазами... Лапы... Пальчики на них... ногти круглые... шерсть серо-бурая... ноги задние сильные, стройные... Хвост. Тут я от жалости и омерзения закрыл шнифты. Открываю. На экране недоеденная репа, кулек пшеницы и две французские булки. Этими гостинцами я подманивал к себе в ночь с 14 июля на 9 января Джемму. Кидалла перевернул ее и показал четырнадцать ножевых ран в сердце. Я снова закрыл шнифты. Сволочи, подонки, выродки, потерявшие человеческий облик! Зачем было убивать невинную Джемму? Зачем так коверкать проклятый сценарий? Я и без этого взял бы на себя изнасилование еще пяти кенгуру, удава, крокодила и даже гиены в придачу! Убийства не было в моем сценарии! Зачем надо было

ее убивать? Открыл. На экране – найденные улики: пуговица от ширинки и автобусный билет. Кидалла вдруг снова чего-то достает из сумки Джеммы. Детеныш! Детеныш, Коля! Живой! Живой! Шевелится! Весь зал так и грохнул овацию, и я вместе со всеми хлопаю, аж ладошки заболели, и рукавом слезы смахиваю. Живой. Майорша, которая пробы почвы брала и следы замеряла, расстегивает гимнастерку, вываливает прелестную совершенно грудь и подносит кенгуреныша к соску. И улыбается, таинственно улыбается на весь экран. А Кидалла отвернулся, чтобы наш народ не видел слез чекиста.

Неожиданно зажгли свет. Это стало плохо от всего увиденного председателю Австралийской компартии. Посерел, держится за сердце, к губам его микрофон поднесли, и он шепчет на весь зал, а может, и на весь мир: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!» Ему укол сделали. Оклемался. На меня две колхозницы бросились в бешенстве, обе с серпами, и работяга с молотом. Прибили бы, если бы не конвой. Удержал их, слава богу, конвой. Снова свет потух. Арест сторожа Рыбкина. Наконец-то я увидел человека, которого спойл и у которого купил все его боевые ордена на Тишинском рынке. Кемарит себе Рыбкин, прислонившись к тоже спящему бегемоту. Карабин лежит в пасти у бегемота. Там же недопитая «Петровская водка» и кулек с закуской. Бегемоты, Коля, как и алкоголики, спят с открытым ртом. Кидалла Рыбкина разбудил

пистолетом. Дулом в ноздре пощекотал. Зал так и грохнул от хохота. Рыбкин проморгался, к бутылке рукой потянулся, а Кидалла ему: «Руки вверх!» Рыбкин встает, и до него, видно, не доходит, как это так «руки вверх». Он правую поднял, а левой к бутылке тянется. Кидалла его руку сапогом отбил и Рыбкина – в машину. Он, бедняга, все оглядывался тоскливо, когда шел, на бутылку и закуску в пасти у бегемота. Так и не дошло до него происходящее. Очень я переживал тогда. Затем был лично мной сочиненный веселый детектив, как искали Фан Фаныча по крохотным уликам: пуговице от ширинки и автобусному билету с тремя оторванными, оказывается, цифрами... Опросы кондукторов, водителей автобусов, пассажиров, продавщиц брюк и костюмов, продавцов «Петровской водки»...

Допрос расколовшегося Рыбкина, который категорически отказался отвечать на вопросы, пока ему не дали опохмелиться. Молодец! Я один аплодировал этому факту. Председательница-мышка предупредила, что выведет меня из зала, если буду мешать простым людям доброй воли смотреть картину, и не посмотрит на то, что я автор сценария...

Кольцо вокруг меня все сжималось и сжималось. Восемь миллионов москвичей уже искали Фан Фаныча по словесному портрету, нарисованному Рыбкиным под диктовку, разумеется, Кидаллы. Восемь миллионов москвичей, Коля, одних только москвичей, с утра до вечера страстно вглядывались в лица друг друга, искали в них мои черты, мои осо-

бые приметы. Горькие складки у губ. Добрые серо-синие глаза, мужественная морщинка на переносице. Красивые темно-русые брови. Лысоват. Череп благороден. На левой руке – пулевой след и голубые отметинки. Нормальный и временами обаятельный мужчина неопределенного возраста...

Студенты прочесывают леса от Москвы до Владивостока. На станциях и в аэропортах проверяют ксивы военные патрули...

Сторожа Рыбкина публично лишили трех нашивок за тяжелые ранения, а медаль «За оборону Сталинграда» оставили по распоряжению самого Сталина.

Тревожно через каждые четыре часа гудят заводы и фабрики, перевыполнившие полугодовые задания.

Кольцо все сжимается и сжимается, но захомутать меня, однако, никак не могут.

Поисками руководит Кидалла. Он носится в машинах, вертолетах и «мигах», собирает сотрудников, думает, в кабинете ест, спит, вернее, дремлет с открытыми глазами и по часу, не отрываясь от микроскопа, анализирует пуговицу от моей ширинки. Потом докладывает что-то Берии, а тот отдирает листки от календаря и думает.

А когда, Коля, показали, как на лафете в аэропорт везли убитую Джемму и вслед ей махали австралийскими и советскими флажками трудящиеся Москвы, как внесли Джемму на носилках по трапу в лайнер, как летел самолет в Австралию и простые люди доброй воли смотрели ему вслед гневно

и грустно, когда показали похороны Джеммы в Мельбурне и речь нашего посла над ее могилой, а потом открытие мемориального комплекса работы Вучетича, тогда весь зал судебного заседания зарыдал наконец, Коля, и я расстроился тоже.

Я действительно переживал эту трагедию по-настоящему. Я, может быть, был единственным человеком в зале, так ее пережившим, но вот что заметил, милый мой Коля. Я заметил, что начинаю во время картины болеть за чекистов. Безумный, уродливый и сильнейший эффект важнейшего из искусств – так извращенно пудрить мозги человека! Да! Да! Да! Я начал именно болеть, именно желать и метать икру, чтобы Фан Фаныча скорей, падлу такую, схватили и чтобы не ушел он, паразитина, от возмездия!

Я взволнованно привстаю, когда берут в ресторане «Арагви» прямо из танго, из объятий партнерши человека, но это опять, к сожалению, оказываюсь не я. А перед тем, другим, извиняется молоденький лейтенант и просит оркестр сыграть танго сначала.

Потом пошли кадры, как на Лубянке выстроилась очередь мужчин, у которых на ширинках не хватало пуговиц. Довольно много оказалось в Москве одиноких идиотов и мужей невнимательных женщин, что, Коля, на мой взгляд, одно и то же.

Вот показалась на экране одна ласточка! Плачет от страха, отдает Кидалле мой галстук, на красном фоне золотые

короны, и чешет в микрофон, какой я был зверь и сексуальный маньяк, любивший играть по ночам в длинном коридоре ласточкиной коммуналки в чехарду. Это, Коля, любимая игра кенгуру и французских политиков до прихода к власти де Голля.

А вот еще одна ласточка! Как я ее любил! Как я был нежен и щедр! Она продала меня серьезно и деловито, гневно возвратила органам бриллиантовое кольцо, норковое манто и книжку стихов Симонова «Друзья и враги». Все ласточки меня продали. Продали меня также со всеми потрохами и родословной до пятого колена две моих тетки, кое-кто из барыг, валютчиков, антикваров и консультантов. И я всецело по ходу просмотра был на их стороне. Про себя самого я совсем забыл и окончательно перепутал, что сочинил я, а что лауреаты Ленинской премии. Сiju, смотрю, топочу ногами, аплодирую, ногти кусаю, где же ты, Фан Фаныч, скрываешься, в конце-то концов! Вот уже Кидалла допросил прямо на улице Нюрку-суку, которая у нас за углом пивом торгует. И ты веришь, эта гадина сказала, что я каждый раз издевался над ней, требуя долива пива после отстоя пены! Я ни разу этого не требовал, Коля! Наоборот, я всегда вежливо говорил: «Пожалуйста, можно одной пены». Это и бесило Нюрку. Но тогда я на Нюрку не злился. Тогда я кивал головой, мол, верно ты толкуешь, советский ты, Нюрка, человек, родная ты моя. И знаешь, Коля, кто меня вывел на время из этого состояния? Ты, мой милый! Да! Если я, даст Бог, буду поми-

рать нормальной смертью и хватит у меня сил оглянуться, то вспомню, как ты, посмотрев на фото, подсунутое Кидаллой, пожал плечами и твердо, с некоторым даже презрением к мусорам, свысока, как и подобает уважающим себя и своих друзей благородным людям, ответил: «Эту сволочь первый раз вижу!»

Я вспоминаю, помирая, твой смех, Коля, когда, припертый к стенке фотокарточкой – мы с тобой в «Савойе» улыбаемся официанту, несущему на блюде бутылку «Столицы» и запеченных карпов, – когда, припертый к стене, ты сказал Кидалле и его псам, взбешенным и не имеющим права отбить тебе на съемках закрытого фильма печень и почки:

– Мало ли, граждане начальники, с кем я сидел в кабаках? Всех не упомнишь! – Вывел ты меня, значит, на время из состояния, когда я сам болел против себя, но ведь это потому и важнейшее из искусств для большевиков, что оно все может поставить раком. И опять я жду, когда сожмется вокруг меня кольцо.

Окружили мой дом, пожарная команда приехала, сетку натянули под окнами, чтобы я не бросился с шестого этажа, и Кидалла сказал в мегафон:

– Выходите, Харитон Устинович Йорк! Вы проиграли. Сопротивление бесполезно!

А на площадке около двери мусоров шесть с автоматами, готовыми прошить меня в случае сопротивления. Выходит на звонок соседка Зойка, которой я, уходя на Лубянку,

клопа подсунул в комнату, и с ходу, конечно, продает, как я два дня назад куда-то собирался, вынул из бачка в сортире пачку денег, связку колец, пригрозил Зойке изнасиловать ее и убить, если проболтается, и скрылся. И финку вынесла Зойка окровавленную, которую нашла в моей калоше. Волоosenки серо-бурые к лезвию прилипли. Хорошо, что комнату мою не раскурочили. Просто зубы у меня зачесались от любопытства, куда же это я запропастился, куда слинял, где я, нехороший человек, заныкался, наконец?

Показали, как Сталин и Молотов приняли посла Австралии и для утешения подарили ему изумруды покойной императрицы Александры Федоровны. Не обошлось также и без митинга. Убийцу – к ответу! Австралия, мы с тобой! Руки прочь от фауны дружественного континента!

Вдруг, ни с того ни с сего, показывают лужок, ромашки на нем, колокольчики, кашка розовая, бабочки летают, пчелы жужжат, жаворонок над лужком звенит, такая прелесть и покой под ясным небом. И по лужку, неподалеку от речушки, корова пегая ходит, травку щиплет. Трава высокая-высокая. Щиплет себе и щиплет, тихо к речке идет корова. Не идет, а плывет, незаметно, как ногами переступает. «Марта! Марта!» – зовет эту корову и что-то кричит по-немецки здоровая баба, танком только поднимать такую. Ведро в руках у бабы. «Марта! Марта!» – корова быстрее к речке пошла. Баба ее догнала. За рог схватила. По шее дала. Корова встала, а баба присела. Ведро подставила. Доить собралась. Берет по сос-

ку в руки, рот глупо раскрывает и что-то соображает. Потом как заорет: «Ганс! Ганс! Зольдант! Шнель! Шнель!»

Смотрю: корова падает, и из пуза ее, представь себе, Коля, показывается моя родная харя! Тютелька в тютельку моя! Тут я подумал, что Кидалла вполне мог внушить мне под уколами проделать всю эту хреновину, и стал болеть сам за себя, хотя совершенно не мог вспомнить, как я попал в корову Марту. Ее ведь тоже надо было «замочить», мастерски содрать шкуру, оставив голову и хвост, и партнера к тому же найти для задних ног. Помогаю я ему выбраться из Марты, а это, оказывается, не мужик, а киноактриса Зоя Федорова, посаженная Берией, и мы оба, подминая высокую траву, бежим к реке, к границе, как я понял, ГДР с ФРГ. Быстрей, Фан Фаныч, быстрей! Не отставай, Зоя Федорова! По нам уже шмаляют, пули свистят над головой, косят очереди автоматные траву вокруг. Овчарки лают все ближе и ближе. Вот она, речка, перед глазами, нырнуть в нее и вынырнуть в Мюнхене, в пивной, за столиком, уставленным кружками пива, долитого после отстоя пены без всякого унижительного для меня и тебя, Коля, требования. Пригнись, друг Зоя, пригнись, дура, а она возьми и споткнись об нарытую кротом кучу земли. Упала, встала, трава кончилась, метров десять голой зоны до речки. Тут очередью автоматной полоснули по пяткам, и я сдался, неохота было помирать. А Зоя Федорова по горлышко успела в речку войти и подняла тоже руки вверх! К ней две овчарки подплыли. Бедная Зоя за-

визжала от ужаса: все-таки это не «музыкальная история» и главная роль в кинофильме «На границе». Общмонали меня и Зою восточногерманские пограничники, и вдруг, представляешь, подбегает ко мне эта бабища и тоже по кумполу моему ведром – бамс, все у меня поплыло перед шнифтами, и голова загудела, как царь-колокол. Я упал, а зал прямо взорвался от хохота. Гы-гы-ы! Мне стало жалко, что кино кончилось, но это был на самом деле еще не конец, хотя здесь мой сценарий обрывался.

Пошли допросы. Два дня мы их смотрели с перерывами на обед и в сортир. И на каждом допросе я отпирался, изворачивался, лгал, отрекался от пуговицы на ширинке, говорил, что езжу в транспорте без билетов для экономической диверсии, умолял выдать меня эквадорской и швейцарской полициям, но все ж таки обессилел от терпеливой логики Кидаллы, от финки, найденной в Зойкиной калоше, и раскололся. А старая задница-заседательница снова завопила с места на весь зал: «Это полный распад!»

Но я опять-таки, Коля, хоть убей, не могу вспомнить ни допросов, ни лиц многочисленных свидетелей и ласточек, проливавших свет на то, как я, все усложняя свои сексуальные претензии, докатился постепенно до кровавого преступления.

В общем, Коля, я так был в кино похож на себя, верней, не то чтобы похож, а просто тени сомнения не было во мне, что я – это не я или что не я – я, прости, все снова в башке

перепуталось, и вместе с тем в памяти моей не осталось ни крохи, ни грамма из увиденного, что я снова начал чокаться.

Снова душа оборвалась, бессильная из-за неимения опоры и дьявольской путаницы разобраться, где ее истинное существование, а где туфтовое. От этого страшно. Не может быть в человеке большего страха, чем этот страх. Помнишь, я, как последний в жизни хлебушек, ел последние секунды жизни на свободе? И эти секундочки были Временем Жизни! А на скамье подсудимых, когда даже тело не чувствует за собой опоры, когда за спиной пустота, вокруг чернь тьмы и перед глазами на экране твой двойник, но душа с безумной и мучительной болью, для того чтобы не сорваться окончательно уже в бездну, пытается бедная душа вспомнить свою жизнь в этом двойнике, то такие секунды, Коля, не дай тебе Господь испытать их, такие секунды и есть – чистое Время Смерти. И я утверждаю, я смею утверждать при наличии страшного своего опыта, что самоубийство – это самая последняя попытка бедной и больной души, брошенной в условия смерти, обрести жизнь. Я, Коля, сам не знаю, да и тебе не надо знать, чем кончаются эти попытки. Пока что давай пожелаем и виноватому человечеству и невинным животным, давай пожелаем жизни всему живому...

Так вот, снова чувствую – сейчас поеду, тем более стали показывать вообще страшные для меня вещи. Кидалла устроил очную ставку между мной и пожилым генералом. Погон на нем, конечно, уже нет, на кителе темные полосы от

орденских лент. Дергаются щека и веко. Хорошее при этом было у генерала лицо. Лицо, Коля, мужчины и солдата. И вместе с тем, ты знаешь, детское лицо. Беспомощное. Пригласили человека поиграть в какую-то войну, а на таких войнах он сроду не бывал, все больше финские да отечественные, и главное, тут только нападают, защищаться же не ве-
лят.

– Гражданин Йорк, – задает мне вопрос Кидалла, – вам передавал бывший генерал-лейтенант Денисов по предварительному сговору в обмен на машину досок и сто листов кровельного железа гранату-лимонку и генеральскую форму летней одежды?

Ты, Коля, можешь себе представить, чтобы я ответил «передавал», если даже на самом деле генерал Денисов передал бы мне не то что вшивую гранату-лимонку, а пяток бронетранспортеров и пару атомных бомб – и все это при вонючих свидетелях Молотове и Кагановиче? Не можешь ты себе этого представить. А я, однако, ответил, как жалкая блядь, что передавал, и к тому же добавил, что генерал Денисов предлагал мне за три мешка цемента – он строил по чьей-то сценарной версии дачу для любовниц – новенькую полевую радиостанцию и план стратегического отступления всех наших войск до Урала в случае войны с Югославией.

– Гражданин Денисов, вы подтверждаете показания гражданина Йорка?

Генерал, глядя мимо меня и Кидаллы, спокойно ответил,

что подтверждает. Я не знаю, киношники ли постарались, но он минуты за две поседел, белым стал у всех на глазах. Это был настоящий генерал, а я – говно, и я после того, как почувствовал полнейшую пустоту в груди на месте души, хотел вскочить со скамьи и броситься на штык конвоирского карабина. Верней, Коля, не хотел, а уже вскочил, но ноги мои словно приросли к полу, я их просто оторвать не мог от него. Падлы и этот момент предусмотрели. Я вынужден был остаться в живых. Я попробовал оторвать взгляд от экрана, но жуткий страх – такой иногда тянет человека, трухающего высоты, взглянуть еще раз вниз с десятого этажа, – жуткий страх заставлял отрывать руки от лица и смотреть, как я колюсь, парчушка позорная, как продаю всех, о ком спрашивает Кидалла. Разумеется, Коля, я понимал, что меня или отравили, или загипнотизировали, но ведь мне от этого было не легче. Всякая отвратина-то происходила со мной, а не с Хабибулиным! И я, как самой страшной пытки, ждал вопроса Кидаллы о тебе. Кидалла не мог не знать о кое-каких наших делах и вообще о том, что мы с тобой кирюхи, и не преминул бы, шакалина, использовать этот момент. Но нет! Не спрашивает, падаль! Уже следствие подходит к концу, проведены всякие эксперименты. Я показывал на чучеле Джеммы, как я ее изнасиловал, показывал скамейку, на которой подолгу сидел напротив вольера, обдумывал злодейство, а насчет тебя, Коля, Кидалла молчит. Почему? Мне кажется, я допер. Наверное, и в тебе, Коля, и во мне есть что-то такое, до чего

Кидалла при всей его власти, при всем нюхе, при всей своре шестерок не может докопаться. Догадывается, несомненно, что это великое «что-то» существует, но докопаться не может. Впрочем, есть еще один вариант. Кидалле кажется, что в нас уже растлено и пробито все, что мы – пустыни, а не живые души и что нету в мертвых пустынях ни Бога, ни друга. Это, Коля, для нас с тобой исключительно спасительные варианты. Так кто же там, в конце концов, на экране? Я или не я? Спросить бы об этом у самого Кидаллы. Я мог тиснуть черновик сценария своего дела, но генерала Денисова я продать не мог. Генерала и многого другого вообще в сценарии не было, но ты, Коля, абсолютно прав. Международный урка Фан Фаныч не имел права приниматься даже за черновик сценария. Пускай сами пишут. Пускай клепают и шьют нам дела сами! И не пришлось бы мне, страдая за самого себя, страдать к тому же за сторожа Рыбкина. Иди знай, кто это – народный артист, для которого тиснули роль, или живой сторож? Сиди теперь на скамье и гадай. Уж очень Рыбкин, когда его брали, по-человечески потянулся за бутылкой, лежавшей в пасти бегемота, а другую руку поднял вверх. Артист сам до этого не допер бы. Он даже чем гениальней, Коля, тем саморазоблачительней. Артист не допер бы. Может, режиссер настропалил? Все может быть.

В общем, сию и гадаю, а там уже интервью берут у простых людей и у сложных. Что бы они со мной за кровавые мои грехи сделали? Какой бы они вынесли мне приговор?

Ты себе не представляешь, Коля, до чего жестоки и типы многие простые люди доброй воли. Не сомневаясь в моей вине, они предлагали вырвать мне ноги. Это примерно девяносто процентов опрошенных. Остальные придумывали оригинальные пытки, но только с тем, чтобы я подольше не подышал, а, исходя болью и криком, мучился. До вечной же муки и пытки недодумался никто. Наверное, это потому, что все люди поголовно завидуют любой, пускай даже мучительной форме чужого вечного существования. Сложные же люди, писатели, художники, внешторговцы, журналисты и прочая шобла – все они в один голос предлагали поить меня водярой с утра до вечера и не давать опохмелиться, пока сердце само собой не остановится. Такая смерть действительно страшна, но на то они и сложные люди, чтобы именно ее мне придумать. А простые, за что я их все-таки и люблю, гадов, никогда не дадут подохнуть, непременно поднесут опохмелиться. Спасибо им, Коля.

Долго тянулись эти интервью. Наконец, в который раз уже, артист МХАТа Трошин пропел: «Объявляется, объявляется, объявляется, подмосковные... пе-ре-рыв!» И после перерыва и экспонирования меня на Выставке Правосудия, после просмотра очередного киножурнала «Новости дня» показали для устрашения тех, кто укрывает особо опасных преступников, такой эпизодик.

Иду я по перрону Белорусского вокзала в генеральской форме. Страшно я себе понравился! Просто прелесть! Жаль,

что ты не видел, как мне идет быть генералом. Прихрамываю очень красиво, с понтом от старой раны. Подхожу к спальному вагону экспресса Москва – Берлин, и радуется мое сердце. Все это, Коля, очень на меня похоже. Пожил я немного своей жизнью. Говорю проводнице: «Здравствуйте, ласточка, гутен морген» – и поднимаюсь в вагон. Захожу в купе. Там сидит, поверь мне, очень красивая дама лет сорока трех и, не отреагировав на мое появление, читает журнал. Отдаю честь. Получаю холодный кивок в ответ. Это я люблю-с! Это уже интересно, Коля! Сажусь напротив. Снимаю фуражку. Незаметно принохиваюсь, пахнут ли мои ноги. Я ужасно ненавижу в купе свои и особенно чужие запахи. Все правильно. Каждый жест – мой. Ни к чему не могу придраться. Строго и холодно выхожу в проход вагона. Смотрю в окно два часа подряд, пока дама не начинает нервничать, почему это я не возвращаюсь.

Возвращаюсь. Молча открываю чемодан. Достаю коньяк «Ереван», икру, лимон, раскладываю все это, с ее позволения, на столе и спрашиваю по-немецки, не сделает ли она мне милость и честь, не выпьет ли со мной и не откусает ли, чего Бог послал. «Странно слышать, когда военные говорят о Боге», – отвечает дама и, к некоторому моему сожалению, жестом старой бляды с ходу берет стакан в руку. Выпили. Представились. Я что-то сказал и вдруг чихнул. А я ведь, Коля, ни разу в жизни не чихал. Вот так, не удивляйся. Не чихал – и все, и не знаю почему. Не приставай, пожалуйста, с

расспросами. У меня и так комплекс. Я завидую всем чихающим людям и даже любил одну ласточку только за то, что она чихала по семнадцать раз подряд. Неспособность чихать – моя основная особая примета. И Кидалла про нее не знал. Не знал, потому что и ему, и всем властям мира совершенно наплевать, умею я чихать или нет. На это как раз и напоролся Кидалла. И надо же, Коля, я просек наконец, что это не я на экране в самом интересном и приятном для себя месте, и испытал настоящую муку. Потому что смотреть, как какой-то туфтовый Фан Фаныч садится рядом с дамой, расстегивает постепенно пуговицы на генеральском мундире и при торможении хватается как будто за ее коленку, совершенно невыносимо.

Надо же узнать не себя в самом интересном месте! Вот как они научились издеваться над человеческим «я», падлы!

А потом мне уже неинтересно было глядеть, как генерал Фан Фаныч жил на квартире у охмуренной жены старого коммуниста-подпольщика, как она повезла его в пограничную родную свою деревню, как убита была, верней, отравлена в лесу цианистым калием и, умирая, успела на трех языках сказать: «Люди! Будьте же бдительны!» Все это уж было неинтересно. Это была к тому же бездарная неправда, и суд, Коля, приступил к моему допросу представителями союзных республик.

Грузин. Скажи, кацо, тебя мама родила?

Я. Мама. Лидия Андреевна.

Украинец. Тебе что, баб мало?

Я. Пока существует империализм, будут существовать и половые извращения, дорогие товарищи!

Эстонец. Каких вы еще имели домашних животных?

Я. Индюшку, журавля, кошку Пэгги и мерина Грыжу.

Прокурор. Прошу занести в протокол, что журавль – животное не домашнее, Грыжа – имя кобылье.

Русская. Неужели вам не было жалко Джемму, когда после сношения вы клали гранату в ее авоську, то есть в сумку?

Я. Мне необходимо было уничтожить все улики. Секс и мораль несовместимы.

Армянин. Кому ты посвятил свое преступление?

Я. Трумэну, Чан Кайши, Черчиллю и маршалу Тито.

Узбек. Ты угощал кенгуру пловом?

Я. Нет, я его не умею готовить.

Защитник. Прошу занести в протокол это смягчающее вину обстоятельство.

Прокурор. Как фамилия человека или имя животного, впервые пробудившего в вас половое чувство?

Я. Сталин Иосиф Виссарионович.

Коля, ну их на хрен, эти вопросы. Перейдем к слушанию сторон. На следующий день после лекции о международном положении выступил прокурор.

– Дорогие товарищи судьи! Дорогие товарищи! Дорогой подсудимый! Вот уже несколько дней нам с вами трудно переоценить все, что здесь происходит. Мы присутствуем на процессе будущего. Мы судим гражданина Йорка Х. У. за преступление, впервые в судебной практике человечества смоделированное ЭВМ на основании всех данных о параметрах априорно-преступной личности подсудимого. Мы судим гражданина Йорка за предсказанное машиной, совершенное человеком и раскрытое нашими славными чекистами преступление. *(Бурная овация. Все встают.)*

– Творчески развивая учение Маркса о праве, мы высвободили свои карающие руки из кандалов, образно выражаясь, процессуальных закорючек. Мы сделали предварительное следствие весомым, грубым, а главное, как сказал поэт, зримым. Зримым и, следовательно, понятным народу. Сколько лет, товарищи, киноискусство, это, по словам Ильича, важнейшее из искусств, находилось, по сути дела, в стороне от очищения общества от потенциальных врагов всех мастей? Много лет. Сегодня все мы – свидетели величайшего историко-правового акта конвергенции жизни и искусства

социалистического реализма. Мы докладываем нашей родной партии, родному правительству и лично родному Сталину, что нами еще до вынесения приговора успешно решена проблема преступления и наказания. Мы счастливы также, что все прогрессивно-простые люди доброй воли, стонущие под игом капитала, рукоплещут нашим достижениям. Они с надеждой ждут того часа, когда и в их странах пролетариат, взявший власть в свои руки, заложит фундамент новой жизни. Жизни, в которой уже не будет места преступлениям, где восторжествует, товарищи, Наказание с большой буквы! (*Бурные овации. Все садятся.*) Особенно отраднo видеть в этом зале чудесные, окрыленные надеждой лица представителей компартий и народно-освободительных движений всего мира. Ведь мы и для них, не щадя сил, не жалея времени, создавали новую прекрасную, можно сказать, идеальную правовую модель, товарищи! (*Общий крик: «Мир! Дружба!»*) Кроме того, мы докладываем партии и народу о том, что в ходе судебного заседания нами были проведены психофизические эксперименты. Мы получили важнейшие данные о ритмике восприятия подсудимым обвинительного заключения, о реакциях на вопросы представителей союзных республик, то есть, по сути дела, всего советского народа. Советские юристы в содружестве с инженерами, учеными разных отраслей наук, с подсудимым и конвоем открыли целый ряд новых биотоков, возникающих в мозгу и особенно в верхних конечностях преступника, впавшего в состояние агрес-

сивной ненависти к следствию, суду и обвинению. Мы исследовали элементы сексуальной расхлябанности, душевной подавленности и беспричинного веселья. Нами успешно испытан после ликвидации аварии РРР – регистратор реактивного раскаяния. Можно смело утверждать, что под влиянием увиденного и услышанного, под влиянием всего юридического, эстетического и политического комплекса средств, воздействующих на психику подсудимого, в ней зарегистрированы импульсы раскаяния и рассасывания структур рецидивизма. По нашему представлению Х. У. Йорк за добросовестное участие в эксперименте награжден значком «Отличник советской юстиции»!

Конечно, Коля, прокурор с желто-черными зубами раскинул чернуху насчет раскаяния. После того как я оторвал датчик РРР с проводами, его присобачили снова, но раскаялся-то я не в убийстве и изнасиловании кенгуру, а в том, что, рванина, сочинял в третьей комфортабельной от нехера делать сценарий процесса. Не мог я себе это простить, старая проказа! Прокурор же дерьмо и вообще мертвый труп. А защитничек довел меня своим выступлением до смеха и бурных аплодисментов.

– Товарищи! В стране, уже вплотную подошедшей к коммунизму, институт адвокатуры давно должен стать одним из орудий борьбы с преступностью. В понимании Маркса – Ленина – Сталина защищать – это значит нападать! Свершилось! У защиты нет слов. Я с омерзением вспоминаю ряд

догм, мрачно сковывавших в течение сорока лет мою адвокатскую деятельность. Теперь все это позади! Прокуратура и адвокатура, дружно взявшись за руки, выходят на большую дорогу! Зеленого им света! Я кончил!

Эта фраерюга упала, Коля, в кресло и затряслась от рыданий, а я хохотал, пока начальник конвоя не приказал мне выжрать флакон валерьянки. Но все равно Фан Фанычу было радостно и весело, потому что я знал, что я – это я, а процесс – всего-навсего процесс будущего. А как действительно будет в будущем, нам знать опять-таки и нельзя, и не надо.

– Подсудимый Йорк! Вам предоставляется последнее слово!

Я встал. Облокотился о барьер из карельской березы, взглянул в симпатичные карие глаза отполированных сучков и внезапно почувствовал, Коля, ужасно, до того, что скулы свело от охотки, захотелось пивка. Захотелось пивка, и вместе с тем я задумался почему-то над смыслом предоставленного мне права сказать последнее слово. Собственно, почему последнее? И кому его сказать, последнее слово? Вам? Унтам? Косовороткам? Папахам? Черхескам? Ширинкам? Халатам и кинжалам? Тебе, черно-желтые зубы? Тебе, фраерюга-защитничек с большой дороги? Мышке, шуршащей страницами пришитого мне дела? Представителям стран народной демократии и братских компартий? Может быть, конвоем и Кидалле? Или политбюро во главе со Сталиным? Так кому же мне сказать свое последнее слово?

Если здорово повезет, последние слова говорят, умирая, маме, папе, детям, жене, подруге, кирюхе или дедушке-священнослужителю. Даже в глаза палачу-работяге вполне допустимо сказать свое последнее, прекрасное и великое, независимо от того, какое именно, одно-единственное слово, и слово в тот самый миг будет – жизнь. Но сказать последнее слово им? Нет, Коля! Это совершенно невозможно. Жамэ! Я сказал сам себе: «Ты виновен в том, что сочинил от смертной скуки черновик сценария процесса. Получай по заслугам, рванина!» Затем я покачал головой в знак того, что болтовня ни к чему, все и так ясно, а сам слюнки глотаю: скорей бы в буфет! Помотал головой и сел на скамью. Овацию мне устроили и даже встали. Встали и, обскакивая друг друга, рванули в буфет. Это рванули несознательные зрители. А весь состав суда, вонючие стороны, журналисты, писатели, академики, генералы жмут друг другу руки, целуются, и какой-то репортер, как на хоккее, вопит в микрофон: «Побе-е-е-даааа!!! Вел репортаж с судебного процесса будущего Николай Озеров. До новых встреч в эфире, товарищи!»

Мы, то есть я и конвой, когда отключили мои подошвы от электромагнита, вышли через спецдверь в спецбуфет. Буфет, Коля! И кто бы ты думал торговал в том буфете? Да! Проститутка Нюрка! Подвел меня к буфету конвой, бухгалтер процесса Нина Иновановна выдала по ведомости металлический рубль с папаней государства на решке, и я говорю Нюрке:

– Бутылку «Рижского» и бутербродик с колбасой.

Нюрка делает вид, что меня не узнает:

– С собой будете пить или здесь?

– Здесь. – Тогда достает кружку, гадина, чтобы я ее посуду не хапнул, выливает в кружку пиво из бутылки, но пиво из-за пены не вмещается, и Нюрка говорит:

– Ждите отстоя.

Я говорю, что могу и это сначала выпить, а она потом дольет. Но Нюрка говорит:

– Кружка, подсудимый, должна быть кружкой. А то вы эту выпьете и скажете: почему неполная кружка? А я доказывай ОБХСС, что к чему. Так что ждите.

И кружку, Коля, мне не дает. Наслаждаясь, продолжает унижать. Жду. Третий звонок в фойе. Но пена бутылочного пива плотная, не такая, как у разливного. Не садится пена – и все дела. У меня в горле пересохло, слюни текут, конвой толкает: пошли. Я говорю:

– Падла позорная, дай я из горлышка попыю!

– Нет, подсудимый, не положено. Здеся у нас процесс будущего, а не подворотня у «Хворума». Идите. Опося приговора придетья.

– А если пиво выдохнется, – вежливо спрашиваю, – и станет теплым, как моча верблюда в пустыне?

– Тогда я вам в будущем новую бутылку открою.

– Опять, значит, ждать будущего?

– Да, ждать. Я не виновата, что пиво с пеной выпускають.

В будущем, может, и без пены что-нибудь придумают.

– Хорошо. Дайте мне бутылку с собой и получите за эту.

– С собой не положено, – говорит конвой.

– Тогда дайте хоть бутербродик с колбаской, – тихо прошу я и чуть не плачу.

– Бутерброды мы без пива не даем. С алкоголизмом боремся, – говорит гунявая Нюрка.

Вот как закрутили душу в муку!

Администратор Аркадий Семенович, маленький такой, юркий, уже семенит ко мне и тоненько кричит:

– Фан Фаныч, дорогой, ну где же вы? Зал ждет! Люди топчут!

– Пускай, – говорю, – журнал без меня начинают.

– Нет! Нет! Без вас не можем. Все-таки это ваш процесс, а не наш! На скамью, дорогой, на скамью!

Ты представляешь, Коля, я в некотором роде аристократ, я не могу перед парчушками нервничать и злиться, не могу метать икру и качать права, но и ты войди в мое положение: я от последнего слова отказался для того, чтобы побыстрее выпить перед этапом, перед бог знает чем, может, последний раз в жизни холодного пива выпить и пожевать бутерброд с полтавской колбаской! А эта сучка тухлая пытается меня! Эта мразь надо мной изгиляется перед вынесением приговора! Так я и ушел, не пимши, не емши, его дослушивать. Нюрка мне вслед прошипела:

– Баб надо было харить, а не кенгуру! Уродина!

И я, Коля, сейчас предлагаю выпить за то, чтобы всем животным в зоопарке вовремя и вволю давали есть и пить!

Захожу в зал. Полутьма. Все уже на местах. Щелк: подключились магниты к подошвам. Судейский стол и кресло с гербом во время перерыва отодвинули в сторону, и за ним, Коля, открылась прозрачная стена. Впервые опять-таки в истории мы могли наблюдать, как судьи выносят приговор в своей совещательной комнате. Председательница, мышка-бабенка, заплетала перед зеркалом тоненьку косицу, держа в зубах шпильки, и слушала, что ей втолковывала старая смрадная заседательница. Я тоже с интересом слушал. Оказывается, такие люди, как я, убили во время коллективизации ее мужа только за то, что у него было партийное чутье на кулацкие тайники с зерном, и за то, что после конфискации зерна в какой-то деревне Каменке умерли от голода все кулацкие дети. Партию необходимо уговорить заменить мне тюремное заключение расстрелом. Тем более я еще в юности плевал (смотри лист дела номер 10) на энтузиазм двадцатых годов, растлевал журавлей, цинично используя особенности их конституции, и не остановился даже перед кошкой и мерином.

Не выпуская шпилек изо рта, мышка переспросила, о какой такой журавлиной конституции идет речь, если всем известно, что в природе существует одна не фиктивная конституция – Сталинская?

Старую дуру так перекосило, но и ей было ясно, что о

конституции лучше не спорить. Когда здоровенный детина в кирзе – заседатель – первый раз за весь процесс вякнул:

– За журавля не надо бы расстреливать. Пускай в болоте журавль живет, а не расхаживает по деревне. Сам виноват, что влупили ему!

Старуха презрительно отошла от кирзы и повела носом, как будто он испортил воздух.

– Я – за расстрел, – продолжала она. – Поймите, этого ждут все борцы за мир, все соответствующие нам энтузиасты. Если мы проявим мягкотелость, то пример Йорка может стать заразительным. Взгляните на молодежь! Она уже страстно жаждет разложения, она ловит забрасываемые к нам с Запада миазмы распада! Сегодня – кенгуру, завтра – лошадь Пржевальского, потом – и мы не должны закрывать на это глаза – гиббоны, гориллы, одним словом, приматы. Что же дальше? Мы, люди?

– По мне, расстреливать надо не Йорка, а сторожа зоопарка. Из-за таких, как он, Чапаев погиб. Спать на посту не положено, – сказал заседатель. – А мерину, может, приятно было такое человеческое отношение. За мерина расстреливать не будем. Остается пегая кошка...

Мышка-бабенка остановила симпатичного мне кирзу, воткнула в голову все шпильки и просветила наконец своих коллег:

– Не забывайте, товарищи, о том, что у нас в стране отменена смертная казнь. У нас не хватает рабочих рук, а восста-

навливать народное хозяйство надо!

Я, Коля, первый ударил в ладоши. Уж очень было мне интересно и весело, и всерьез о расстреле я думать не мог. Ведь Сталин дернул после войны всех членов политбюро на заседание, выпили, закусили, и говорит:

– Как ты думаешь, Вячеслав, куда я сейчас гну?

– К локальной и глобальной конфронтации с империализмом, – отвечает Молотов. Рыло у него такое плоское, Коля, словно папенька брал Славика в детстве за ноги и колотил головой об стенку. Чужал, во что превратится сынуля.

– А ты как думаешь, Лазарь, куда я гну?

– Ты, Иосиф, всегда гнешь одно, генеральную нашу линию: Москва – коммунизм. Ха-ха-ха!

– А что скажет Жоржик Маленков? Куда я сейчас гну?

– Извините, Иосиф Виссарионович, я простой, смертный, партийный работник, но куда бы вы ни гнули, задание будет выполнено.

– Хороший ответ. Догадался, Анастас, куда я все-таки гну?

– Не буду кривить душой, Иосиф, не знаю, куда ты гнешь. Чувствую: намекаешь на пищевую промышленность. Заверю партию: народ будет скоро хорошо питаться.

– Двадцать пять лет я от тебя это слышу. Но я не слышу из никого от вас, куда я гну?

– Может быть, имеете, Иосиф Виссарионович, проникновение в Африку? Поближе к антилопе гну.

– Ты, Никита, всегда был дураком, но делаешь большие успехи и, следовательно, становишься идиотом. (*Бурный хохот.*) Думать надо не об антилопах, а об антисоветских анекдотах, которые гуляют по руководимому тобой объекту, по Москве. Клим, куда я гну?

– Водородная бомба, Иосиф, будет к твоему семидесятилетию.

– Посмотрим, посмотрим. А ты, Шверник, почему губы поджал? Давно орденов никому не вручал? Скучно стало? Я тебе подыщу другую работу! В Министерство мелиорации пойдешь! В твоей приемной – бардак! Плачут женщины и дети! А для тебя их слезы – вода? Вот и займешься мелиорацией. Председатель сраный. Скажи им, Лаврентий, куда я гну. По пенсне вижу, что знаешь. Скажи, не бойся.

– По-моему, ты гнешь к тому, чтобы отменить смертную казнь, – сказал Берия.

– Верно. Гну. Пляши, Никита, от радости. А мы похлопаем в ладоши. Шире круг!

Сплясал Никита, а сам про себя думает: «Ведь зверь, а не человек! Чистый зверь, и рожа дробью помята! Ну, погоди!»

Сталин же пояснил, что он лично никогда не забывает о людях, и пора перестать их расстреливать.

– Расстрелять кого-либо вообще никогда не поздно. Но временно надо это дело прекратить, потому что советские люди первыми в мире строят коммунизм и с непривычки не хотят работать. Опаздывают. Прогуливают. Воруют на всех

участках всенародной стройки. Зачем же расстреливать рабочую силу? Разве у нас мало бывших военнопленных и предателей с оккупированных территорий? Вместо того чтобы посылать в урановые рудники Стаханова, – сказал Сталин, – давайте пошлем туда врага. Хватит крови. Давайте превратим кровь в труд. Потому что коммунизм – наше общее кровное дело! А урановая руда, новые ГЭС, заводы, шахты и бомбардировщики – это щит коммунизма. Пусть его куют наши враги. Хватит расстрелов. Нужно работать. Но не нужно путать расстрел и пиф-паф. Ты меня понял, Лаврентий? Давайте мечтать, товарищи, о тех временах, когда мы пересажаем всех врагов и начнем сажать деревья.

В общем, Коля, чего мне было беспокоиться, когда старая падла, член с 1905 года, требовала у мышки-судьи моего расстрела? Отменил Сталин расстрел – и все дела. Но эта ехидна возьми и заяви судье с некоторой даже угрозой:

– По-моему, вы запамятовали, что у нас процесс будущего. Партия, несомненно, рассматривает недавнюю отмену смертной казни как временную меру. В будущем, когда мы выполним народно-хозяйственные планы, расстрел непременно восстановят в правах. Ну что вы, Владлена Феликсовна! И не сомневайтесь, голубушка! На вас прямо лица нет. Давайте его расстреляем! Будущее надо делать сегодня!

– Раз такое колесо, можно и расстрелять. Это нас не лимитирует, – соглашается кирзовая харя.

В зале, Коля, мертвая тишина. Да и сам я, между нами, ни

жив ни мертв. Только частушка одна – от кулака в Казахстане
я ее слышал – мельтешит в мозгу не ко времени:

Ты не плачь, милая,
Не рыдай, дурочка,
На расстрел меня ведет
Диктатурочка.

Вот, значит, какой оборот ты мне устроил, товарищ Кидалла! Ваша берет. Молчу. Не вертухаюсь. Ваша берет. Надеяться мне не на что. Не войдет в этот зал добрый доктор в белой шапочке и не скажет: «Ну-с, больные, а теперь извольте разойтись по своим палатам. Харитон Устинович Йорк, он же Фан Фаныч, пожалте на выписку. Хватит, батенька, играть в массовый психоз!»

Вот, значит, какой оборот, вот, значит, как кончается на глазах омерзительной шоблы моя жизнь. Кто бы думал, Коля, кто бы думал... А мышка бегает по совещательной комнате, переговаривается с кирзой и старухой. О чем – не слышно, потому что зал хлопает в ладоши и, не переставая, скандирует: «Рас-стре-лять! Рас-стре-лять!»

Вот въехал электрокар, а на нем куча писем и телеграмм суду с личными и коллективными просьбами стереть меня с лица земли. Втолкнули тележку в совещаловку, смрадная старуха просьбы читает, плача от счастья и родства с народом, с партией, с комсомолом, с деятелями литературы и искусства. И кирза читает, и тычут они оба письмами в мыш-

ку. А я сижу и гадаю теперь уже о том, каким способом меня уделают: отравят или шмальнут? Думаю: менее хлопотно, если отравят. Затем решаю, что они же не сделают это из гуманных соображений незаметно. Схавал миску перловки – и кранты. Они же обязательно напоследок вымотают тело и душу. Пускай лучше шмаляют, как в старые добрые времена. Только интересно, сижу и соображаю, что я раньше почувствую, пиф-паф или удар в затылок? Соображаю и стараюсь убить в себе нерв жизни, чтобы ничего не вспоминать, не сопливиться, чтобы ни о чем не жалеть, никого не хаять и никого не любить. Скорей бы душа моя улетела из этого грязного, зловонного общежития... На третий день будет первая у нее остановка. Попьет душа чайку на полустанке с мягким бубликом, погрызет сахарную помадку. Никого, ни одной души, кроме моей, не будет в буфете. А на девятый день ты, моя милая, одиноко пообедаешь в холодном кабаке, но борщ будет горячим и баранина с гречневой кашей, как при царе. Ешь, деточка, грейся, лететь тебе еще больше месяца, без единой остановки сорок ден, так что ешь и грейся, киселя попей и закури на дорожку. А вот когда прилетишь на сороковой день, душа моя, неизвестно куда, тогда...

– Су-уд и-и-и-дет! – пропел Максим Дормидонтович Михайлов, и все мы вскочили на ноги. Приговор, Коля! Но читала его не мышка Владлена Феликсовна, она с падлой и кирзой просто стояла за столом, а Юрий Левитан читал:

– Работают все радиостанции Советского Союза! – Я весь

треп мимо ушей пропустил. – В том, что он... руководствуясь... Не-ви-но-вен... отпиливании рога носорога... освободить из-под стражи... дело направить на дальнейшее рассмотрение в городах-героях... В преступлении... в ночь... зверски изнасиловал и убил... граната-лимонка... материалами дела и показаниями свидетелей... полностью изобличен. Двадцать пять лет лишения свободы... учитывая многочисленные просьбы трудящихся, руководствуясь революционностью советского уголовного права... Йорка Харитона Устиновича, родившегося... высшая мера наказания: расстрел!

Расстрел, Коля, расстрел. Только не надо, дорогой, делать круглые шнифты, не надо удивляться и хрипло доказывать мне, что закон не имеет обратной силы. Не надо. Это буржуазные законы не имеют обратной силы. А для нас закон – не догма, а руководство к действию. И все дела.

– Подсудимый Йорк! Вам ясен приговор суда?

– Замечательный приговор. Я такого не ожидал. Прошу суд ходатайствовать перед Сталиным о смертной казни через развешивание меня в столицах союзных республик, а также в городах-героях. Спасибо вам всем, дорогие товарищи неподсудимые! До встречи в эфире!

Брякнул, Коля, я все это, а они тихо заплодировали. Только два хмыря – режиссеры – бегали по рядам и сердито заменяли улыбочки и ухмылочки скорбными выражениями лиц. Дети преподнесли мне роскошное издание «Ленин

и Сталин о праве». Затем въехали в зал два электрокара, доверху нагруженные памятными папками красно-черного цвета с молниями наискосок. Их раздали зрителям, и заиграла веселая музыка, попури из произведений Дунаевского. «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы!»

Увел меня конвой в камеру-лабораторию. Я отказался от стакана спирта. Не стал обедать. Расписался в журнале опытов и дал подписку о неразглашении.

– Кому же, – говорю, – мне там разглашать?

– Ну мало ли что бывает. Такое правило.

Поставил я подписи еще в каких-то ведомостях и актах о выходе из строя нескольких приборов. По просьбе лаборантов написал докладную записку министру среднего машиностроения о том, что, желая напоследок подгадить стране, хватанул стальным брусом по бутылки спирта. Списали ее тут же и выжрали.

Снова я вдруг поплыл, поплыл, даже не успев подумать, врезаю я дуба или не врезаю, и прочухался в камере смертников. И вот, Коля, очухался я в камере смертников, причем голенький, но от холода не мандражу. Шнифты открывать не желаю и думаю: на хрена меня пробуждать? Врезал бы дуба и — до свидания. Никаких хлопот ни вам, ни мне, а общество писает кипятком выше кремлевских звезд от удовольствия, что избавилось от уroda, мешавшего ему двигаться вперед к сияющим вершинам. Лежу, значит, не шевелюсь и, веришь, Коля, стараюсь не захохотать, потому что странно я устроен. Я представил на секунду, как общество подкандеhalo совсем близко к вершинам, так, действительно, сияющим, что многие люди теперь уже ослепли начисто от их нестерпимого блеска, а те, кто поумней, опять-таки уже теперь, чтобы не ослепнуть, ходят в темных очках. Подкандеhalo общество и тут растреможило нервные склоны гор. Пошли обвалы, заносы, лавины, ледник имени Ленина всей своей холодной мощью двинулся на общество, а за ним и другие ледники, поменьше: Кырлы Мырлы, Буденного, Дзержинского, Станиславского и Валерия Карцера. Вот-вот столкнется поток тупой, ослепшей человечины с потревоженной стихией, которой, слава богу, неведомо, какими тухлыми именами человечина ее окрестила. Растерянно переглянулись вожди с ра-

бами, и вот эта их беспомощная растерянность и развеселила меня, Коля, но, клянусь тебе, не потому, что картиной безжалостного возмездия заглушал в себе страх идущего ко мне последнего часа. Нет, не был мстительным беззвучный мой смех, да и не такой я дурак, чтобы верить, что все будет так, как я ни с того ни с сего себе представил. Просто беспомощность и растерянность на одну только минуту обратили в моих глазах скотов в людей, скорее даже в детей, которым до конца времен суждено осатаневать от гордыни, проклинать себя за нее в страшный миг и открывать на слабых губах чистую улыбку мольбы о спасении. Господи, подумал я тогда, насколько же я старше, стоя на вершине своего настоящего времени, и тех, кто уже сгинул, и тех, кто придет и тоже сгинет в свой час. И как хорошо, что я помираю не в толпе, как хорошо, Господи, что я один-одинешенек! От помилования я откажусь, кассаций тискать не буду, ничего не желаю, мне бы вот так лежать и лежать, пока не дернут с вещами, и сделаю я свои последние шаги по земле, она же железобетон, она же красный кафель, она же пустота... Она же пустота, Коля. Как хорошо, что я сейчас один-одинешенек! Но не тут-то было! Марш заиграл. Мы покоряем пространство и время!

– Подъем, Йорк! Вставай, змей, и реагируй на интерьер. Все, думаешь, шуточки с тобой шутят? – говорит Кидалла. – Думаешь, нам неизвестно, что ты проснулся? Подъем, тварь. Я из-за тебя выговор по партийной линии получил! Ты по-

чему, гадина, последнего слова не сказал?

— А мы насчет него не договаривались, — отвечаю и встаю. Смотрю на стены. Там за стеклом орудия самоубийства выставлены. Вербки мыльные, яды, бритвы, финки, пистолеты и снотворные калики-моргалики. Они, значит, хотят, чтобы я, желая сократить часы, а может, и дни предсмертного страха, реагировал на симпатичный сердцу приговоренного к высшей мере интерьер? Пожалуйста! Извольте! Я ищу что-нибудь острое, но в камере угла нет ни одного, не то что ложки, как у графа Монте-Кристо. Только приборы какие-то под стеклами. Знаю, что за мной кнокают, изучают для правосудия будущего мою психику, и пробую отколупнуть ногтем стекло стенда. Бегаю мимо него как волк, слюнки глотаю, словно мне сейчас необходим хотя бы гвоздь. Вбил бы его в сердце — и все дела. Тут они стали тасовать Время. Снова марш заиграл. Ложусь на нары. Пусть думают, что я поверил в вечер. Пусть думают. Они за это денежку получают, диссертации пишут, а сам-то я знаю, что еще день, часа два всего прошло, как я проснулся. Сам-то я знаю это точно. К вечеру у меня левая пятка начинает чесаться и хочется чаю с сухариками и черносмородиновым вареньем. Захрапел я сладко-сладко, для пушего понта, и слышу голос Берии:

— Ваши опыты, товарищи, имеют для нас огромное значение. Недалек тот час, сказал Сталин — мы вчера с ним ели шашлык, — когда наша страна полетит к звездам. А лететь до ближайшей звезды, указал он, подольше чем двадцать пять

лет с поражением в правах. Нужно уже сейчас научиться изменять биологическое время организма так, как того требуют условия длительного полета. Биологическое время человеческих организмов, подчеркнул Иосиф Виссарионович, тоже относительно и целиком зависит от воли партии, от воли народа... В общем, запускайте этого мерзавца, слишком долго гулявшего по земле, куда-нибудь к чертовой матери! – велел Берия. Снова, Коля, заиграл марш «Мы покоряем пространство и время». Встаю, потягиваюсь, сладко зеваю, помочился в парашный клапан, говорю:

– Кормить меня, псы, думаете? Или в вашем светлом будущем подыхать велено натошак?

Молчание. Все так же висят за стеклом недоступные для меня орудия самоубийства. Нары вдвинулись в стену. На ихнем месте появилось стереофото. Подперев скулу ладошкой, смотрит Ильич на господина фантаста Уэллса. Шнифты прищурил и говорит:

– Ох, Уэллс! Ох, Уэллс!

Вдруг часы где-то громко затикали. Так-так, тик-так. И табло загорелось у меня перед носом. Секунды на нем мелькают. 60... 59... 40... 36... 20... 10... 3... 1... Пуск!

Слышу, Коля, отдаленный рев, держу себя в руках, хуже смерти не бывать, а одной не миновать, я уже прошел через кое-что, меня ничем не удивишь, не бэ, Фан Фаныч, все будет хэ, но все-таки слабеют мои коленки от неизвестности, что же вы еще, проститутки, придумали, до каких пор

мучить меня собираетесь? Вылупляется вдруг в стене иллюминатор, вроде самолетного, смотрю в него – и уплывает, уплывает от меня Красная площадь, Мавзолей становится все меньше и меньше, очень это было интересно. Вот уже вся Москва осталась под облаками, а я над ними, над ихними сугробами, над мороженым детства моего, вон круглая, щербатая желтая вафелька, и на ней буковки «Ваня». Луну я увидел, Коля, и сообразил, что, вместо того чтобы шмальнуть, решили меня запустить для опыта к чертовой матери. Вспоминаю, имеется ли во вселенной такое созвездие, и пробуя просечь, что лучше: смерть или такой вот полет? Решить ничего не могу, но падаю на колени и говорю:

– Господи, не покидай! Дай мне силы быть!

До сих пор, Коля, не могу понять, что бы мы с тобой делали при советской власти без веры в Бога? Без нее жизнь твоя и моя, несмотря на наши свободные профессии, была бы сплошным мелким и унижительным бытовым адом. В общем, лечу. Простился я с землей. Что я при этом думал и чувствовал – тема для особого разговора. Выполняю команды, которые мне дают по радио, слушаю последние известия Юрия Левитана, сошел с рельс тысячный паровоз ФЭДЭ... Слушаю музыку советских композиторов, хаваю, вернее, выдавливаю в себя разную пасту из тюбиков, живу, короче говоря, как теперь какой-нибудь Попович или Терешкова. Погружаюсь в сон, пробуждаюсь раз в сто лет по электронному календарю и тогда гляжу в иллюминатор. За ним то чер-

ным-черно, то светила виднеются, то созвездия мельтешат.

И ты, Коля, абсолютно прав. Я был сохатым и верил, что лечу в тартарары. Но я же не знал тогда, что такое – состояние невесомости! Как я мог просечь, не зная этого, лечу или не лечу? В космосе я или в лаборатории на Лубянке? Тем более за Ильичом и Уэллсом то и дело что-то грохочет, на приборах лампочки мигают, стрелки всякие бесятся и так далее. Одним словом – лечу.

Время для меня вообще перестало существовать и поэтому я, слава богу, не думал ни о жизни, ни о смерти. Правда, мандражил я, что меня шмальнули после приговора, а этот полет – на самом деле адская жизнь. Но и то, думаю, не может же она продолжаться до бесконечности. Должна же быть, в конце-то концов, хоть какая-нибудь, ну хоть махонькая остановочка, на которой бедные бабки в бессмертных черных плюшевых кацавейках продают тушеную картошку с луком. Должна же она быть! Держись, Фан Фаныч!

Электронный календарь, по-моему, испортился. Очень уж много времени прошло со дня моего отлета с Земли. А на спидометре скорость 100 000 км/с. Хрен с ней, думаю. Не все ли мне теперь равно, какая скорость? Кемарю, просыпаюсь, облетаю какие-то каменные серые пространства планет, изрытые ямами, по новой кемарю, по новой встаю и из-за странного устройства своей души весело временами посмеиваюсь. Многое мне, Коля, в жизни ясно. Но вот просечь бы, что означает этот тихий, утробный и теплый смех в самые,

казалось бы, страшные минуты бытия? Чего он есть примета? Того, что теплится в тебе Душа, не истребленная дьяволом и адским его оружием – унынием? Теплится и, значит, беззлобно посмеивается, веря в свою неистребимость, над деловую суетой сил зла? Так оно или не так? Извини, что отвлекся, но на какое-то время я впал-таки, позорник, в уныние.

От нехрена делать я решил засечь время по росту бороды и ногтей. А они что-то не растут и не растут. Каким было рыло выбритым и ногти на руках и ногах подстрижены, такими я и наблюдал их после каждого пробуждения. Не растут! Хотя по моим подсчетам и показаниям халтурного электронного календаря летел я уже тыщу световых лет, а Земля за это время успела побывать в светлом будущем, в коммунизме и к тому же врезать дуба от тепловой смерти. Ты, Коля, не лови меня на слове. Тогда я ничего не знал о замедлении времени при вертуханье на околосветовых скоростях. Я просто занервничал. Да и любой нормальный человек занервничал бы на моем месте. В чем дело? В том, что борода и ногти просто не успели отрасти? Или Чека перетасовала время так, что день кажется мне вечностью? Может, они меня, змеи, бреют каждый день под наркозом и ногти раз в неделю стригут? Это все еще куда ни шло! Пусть обрабатывают. Но вдруг я действительно шмальнул или каким-нибудь другим новейшим способом выведен в расход, и ничего больше на мне вообще не растет. Живу я уже неземной жизнью, что,

очевидно, равносильно подыханию вечной смертью, и тогда – кранты, тогда – полная хана! Это в жизни Фан Фаныч весело шустрил, а после смерти шустрить не было у него никакого желания и умения. Как видишь, Коля, налицо образ унынья. Но он мне являлся редко, слава тебе, Господи! А все больше я тихонько лыбился про себя, тоже давая Творцу знак, что в порядке Фан Фаныч, и вполне может быть уверен Творец в его веселье и здоровье, несмотря на ужасную греховную биографию и нелепый конец.

Прошли, Коля, еще тыщи лет. Открываю однажды шнифты и чувствую: щиплет на ноге какая-то царапина или прыщик. Щупаю. Барахванка! Откуда бы она? Боюсь поверить догадке. Как обезьяна, задираю левую ногу. Не выросли ногти на ней. Обмираю и задираю правую и вижу, смоля, в один из самых радостных моментов моей жизни, впрочем, при чем здесь радость, когда момент был истинно счастливый, что на мизинце правой ноги отрос здоровенный ногтище, здоровенный и, главное, необыкновенно почему-то красивый, каким я его никогда до этого не видел. А может, и видел, но красоты евоной не замечал. Ага, думаю, значит, вы, подлюки, все-таки бреете меня и подстригаете ногти, изучаете мое отношение ко времени! А про один ноготок небось забыл по пьянке ваш сотруди́чек, схалтурил, миляга, и вот теперь я в гробу вас всех видал! Я жив и не скурвился перед собою и Богом! Мы еще в детстве, Коля, с родным брательником держали мазу, кто из нас дотянется зубами до мизин-

ца на ноге. И я у него, царство ему небесное, всю дорогу был в замаске. А тут на радостях как-то изогнулся, до мизинчика дотянулся и поцеловал его, милого и родного. Спасибо тебе! И опять же на радостях вскочил я с нар, глянул в иллюминатор, там черная пустыня, только две звездочки, одна немножко больше другой, мерцают, и завопил:

– Кидалла! Гнойник вонючий! Звезды-то заделанные! Космос-то твой туфтовый! И прошли не тысячи лет, а месяца два всего вы измываетесь над моим телом! Ты слышишь, бешеная псина? Но я чувствую себя хорошо, пульс и давление нормальные, к дальнейшим экспериментам готов! Ну что? Пришил ты мне заячьи уши? Времечко-то по-своему течет и течет, земля не полетела в тартарары, и я живу на ней в смертной своей камере! И ты меня не истребишь, мерзавец!

Повопил я еще что-то, навопился от пуза и начал бацать цыганочку. Чавелла! Ун-тарара-рара! Чавелла! Вздрогните хоть вы, заделанные звездочки, померцайте плечиками, ой да, братко, Ганя, ты гитару поцелуй, ты рассыпь звон, чавелла, золотой и серебряный! Фан Фаныч цыганочку бацать изволили во глубине туфтовой вселенной! Чавелла! Ын-да, ын-да, ын-да, ын-да-да-да-да! Вдруг, Коля, завыл какой-то зуммер, три длинных, два коротких, замигала фиолетовая лампа, на табло команда «Приготовиться к посадке!», и из глубины иллюминатора стала выплывать на меня одна из тех двух звездочек. Хоть и туфтовая она, а в паху похолодело от туфтового же снижения. Все ближе наплывает, все бли-

же. Стала звездочка с луну. Застлало ее облаками. Ничего не видно. Сначала черные шли облака, потом фиолетовые, желтые, тые... белые, и тыркнулись наконец в стекло длинные листья каких-то непонятных деревьев. Тыркнулись, и из-за дерева, Коля, ящер вышел, мерзкий, направился ко мне и тоже тычет в стекло драконовскую лапу и длинный ужасный язык. И видно, что ящер этот не туфтовый, а настоящая гадина. И веки у него набрякшие и морщинистые, как у Кидаллы. Смотрю: упал с орудий самоубийства стеклянный колпак. Бери, Фан Фаныч, что хочешь! Бери веревку намыленную, повязывай галстук модным узлом и откидывай копыта. Глотай калий цианистый, вены перерезай, пулю в лоб пускай, отваливай отседа, как знаешь! Но я по новой хипежу:

– Кидалла! Кусок вонючий! Я не Орджоникидзе, чтоб жизни себя лишать! Я ей не хозяин! Жизнь моя – божий подарочек! Подавись ты сам булавками и каликами-моргаликами! А я тебе цыганочку напоследок сбациаю! Чавелла!.. Ын-да-да-да-да-да-да! Чавелла! Я задешево жизнь свою не отдам!

Тут в иллюминаторе все внезапно пропало: и ящер, и неземные деревья, и, как теперь в самой середине экрана телевизора, растаяла последняя звездочка.

– Я спрашиваю: кто вам разрешил менять график эксперимента? – рявкнул Кидалла. – Это вредительство! Вы – лжеученые! На пол погоня и ордена! График был утвержден Берией и Кагановичем! Мерзавцы! Бабуинцев, вы сек-

сот группы?

– Так точно!

– Почему сорван график и посадка произведена на сорок условносветовых лет раньше? Отвечайте, или я вас всех, не отходя от кассы, перестреляю, сукины сыны! Ну?

– К подопытному неожиданно вернулось ощущение реального времени. Мы вынуждены были спасти, так сказать, остатки эксперимента. Нами получены ценные данные о регенерации инстинкта самосохранения в психике объекта «Йорк», по-новому ставящие диалектику проблемы «Жизнь – смерть».

Молчать! Всем снижаю звания докторов наук до младших сержантов, кандидатов – до ефрейторов. Буду просить о расстреле! Молчать! Почему вернулось ощущение времени к Йорку? По-че-му?

После этого ора, Коля, заметь, была продолжительная пауза. Все, судя по тишине, стояли как вкопанные и руки по швам. Ходил, наверно, из угла в угол один Кидалла, и холодно звякали по полу подковки шевровых евоных пахарей. Никто, как я понял, не желает колоться и брать дело на себя. Молчат, как вполне нормальные люди с развитым инстинктом самосохранения. Наконец кто-то, почувявший свой звездный час, сказал:

– Разрешите доложить? Бывший аспирант, ныне рядовой внутренней службы Подонко.

– Докладывайте, Подонко.

– Пробудившись, объект поцеловал последнюю фалангу и ноготь мизинца правой нижней конечности. Затем наносил оскорбления органам в вашем лице. Разрешите продолжать?

– Продолжайте.

– Затем объект, обращаясь к агенту итальянского происхождения Чанелло с шифровкой «Ой, да братко Ганя, ты гитару поцелуй, ты рассыпь звон, Чавелло, золотой и серебряный», ногами отстукивал сообщение, записанное мной на пленку.

– Остальное мне ясно. Дело в ногтях. Чавелла, кстати, так же как и Кидалла, не агенты итальянской разведки. Ха-ха-ха! Напишите, Подонко, рапорт о готовности № 1 защитить докторскую. Назначаю тебя командиром лаборатории. Вступай в партию. Кто брил и стриг объект?

– Младший научный ефрейтор Мурашова. Она же по совместительству наш звукооператор.

– Мурашова! Связь с камерой выключена?

– Так точно, товарищ полковник!

Это, Коля, стемнила женщина. Стемнила голосом тихим и спокойным. Таким голосом чудесно и темнить и скрывать волнение. После этого я больше ничего не слышал. Наверно, она втихаря выключила связь. Тут я, как рысь, притаился, ибо Фан Фаныч привык добром, а не подлянкой благодарить человеческую душу за помощь и опору в трудный миг. Притаился и, тоже втихую, пробую оторвать руками самую дорогую тогда для меня и родную часть тела, ноготок с мизин-

ца. А он, представляешь, не отрывается, не обламывается, хоть скриплю зубами от боли, и слезы у меня текут радостные, что и среди этих волков, простите, волки, среди этих акул и крыс, простите, акулы и крысы, есть невинные люди, а такой власти и силы на свете, чтобы уследить за их сопротивлением бешенству бесов, – нет! Никак не обламывается, просто сталактит, а не ноготок, хотя Кидалла вот-вот может нагрять! Хочу обгрызть. Но, как назло, Коля, шкелетина моя одеревенела и не могу до ноготка дотянуться. Господи, взмолился, не дай погубить моею уликою милую женщину Мурашову, согни, Господи, на пару с Ангелом-Хранителем, раба твоего Фан Фаныча в бараний рог, согни, Господи, и тогда прибирай меня к себе, прибирай! Дошла моя мольба, согнулся, схватил ноготок зубами и сразу не отгрызу: ослаб и полста световых лет не держал в зубах ничего твердого. Отгрыз, слава Богу! Покатал во рту, подержал на языке. Спасибо, родной!

Задвижки люка железного лязгнули, заглотнул я ноготок, и канул он в меня, корябнув горло и грудь. Тут же ввалились мусора.

– Ах вы, красавчики мои, – говорю, – здоровья желаю! Как прикажете вас называть? Рад, что похожи вы на меня, человека. Я прибыл на нашу чудесную планету с миссией доброй воли. Привет вам от народа – строителя коммунизма и лично от товарища Сталина! Правде не страшны никакие расстояния! – Говорю все это с понтом, что принял мусоров за

инопланетян, радостно и приветливо, и на орудия самоубийства показываю. – Товарищ Берия прислал вам замечательные достижения нашей цивилизации. Мы, советские люди, – хорошие, а капиталисты – говно. По-вашински как будет – говно? – Мусора не обращают на слова мои внимания, перевернули камеру вверх дном, потом за меня взялись. Я понтырить продолжаю, хляю за космонавта.

– Ой, не щекочите! Ой, не шмонайте! Не притыривал я вымпела с гербом СССР и барельеф великого Ленина! Так вы, падлы, принимаете жителя с планеты Земля? Мусора! Чтоб у вас на пятках по члену выросло, и пусть горит под вашими ногами ваша вонючая Альфа Центавра! Прокуроры, где вы?

Они меня, Коля, волокут, молотят по бокам, по бокам, и руки-ноги осматривают, а я себе хипежу всякую хреновину и веселюсь. Попадает, конечно, но это уже похоже на жизнь, это уже – общение с живыми людьми, это не тухлый полет в туфтовом космосе!

– Где ноготь, чума? Колись, не то печенки отобьем!

– Отбивайте, господа! Печенки мне уже не нужны.

– Где ноготь, тварь?

– Какой Ноготь? Жора или Кока? Если Жора, то умер в Лондоне и захоронен на Хайгетском кладбище, а если сам Кока, то Кока тоже навек завязал, но он покоится на Ваганьковском.

Тут мне врезали в скулу, я слегка поплыл и слышу, Ки-

далла приказывает:

– Хватит с ним волюндаться. Приводите приговор в исполнение! Добро! Мурашову – под следствие!

Притаранили шмутки, в которых я судился, одеваюсь, не тороплюсь, торопиться некуда... Торопиться некуда... Торопиться некуда... Ширинку застегнул... зачем?... бедная, думаю, Мурашова, аркан ей из-за меня... Но ты не колись... не колись до конца... ноготок-то в Фан Фаныче, а Фан Фанычу – кранты, чехты, более того, Фан Фанычу, до вскрытия он копыто ослиное переварит, не то что с мизинчика ноготок. Не колись, деточка, а то я мучиться буду на том свете!

Ведут меня, Коля, куда-то... коридоры... двери... лифты... лестницы... полы... перила... пороги... дерево... железо... бетон... бронза... и я прощаюся с веществом, сотворенным Богом для человеческой радости и так глупо и гнусно употребленным бесами в казни... Ты ведь, дьявол, сволота такая, – иду и думаю, – за всю свою жизнь, вернее, смерть ни одной молекулы, падашь, не сотворил, ни электрончика миру от себя не прибавил, только изводишь и человека, и вещество в вечной злобе и неутолимой зависти, но всего и всех, сучье твое рыло, не изведешь. Жаль мне тебя, дьявол. Жаль!»

Вот открыли, Коля, очередную дверь. Невзрачная такая дверь, краска облуплена, на соплях держится. Я почуял почему-то, что вот оно, и не ошибся. Уперся взглядом в железный пол с желобком посередине и начал вдыхать в себя

воздух, вдыхать, вдыхать, в груди – сила, ни одного выдоха не сделал, а ноги слабеют, смерть начала меня заполнять... шмаляйте, что ли! Шмаляйте!

Тут последовала, Коля, уже не в первый раз, полная отключка, она же туфтовая смерть. Ты не задавай, пожалуйста, дурацких вопросов. Опыт моего пребывания в отключке не имеет никакого отношения к опыту настоящей смерти, потому что дуба я не врезал и теснить, даже тиская роман, не собираюсь. Вот врежу дуба, тогда и потолкуем, что к чему, с большими подробностями, а теперь давай выпьем. Ты обратил внимание, как давно мы не пили? Выпьем за моих покойных родителей. Царство им небесное! Они не то что я. Они действительно скончались.

Простить себе, Коля, не могу, что, когда обговаривал с Кидаллой условия, попросил отправить меня в лагерь с особо опасными врагами советской власти, бравшими Зимний, и с соратниками Ильича, которых подловили в тридцать седьмом.

Отошел я от наркоза в кузове трехтонки. Катаюсь по кузову в черном бушлате, на ногах кирза, на грапках брезентовые рукавички, на стриженной, на бедной моей голове солдатская, фронтовая еще, ушаночка с дыркой на лбу и за ухом. Ветер в этой дырке свистит. Сентябрь. Тоска на земле. Даже выглядывать из кузова неохота. Знаю: на воде, по черным полям поземка метет, белая, как глаза у Кидаллы, и вдалеке нечастые огоньки на вахтах мерцают.

Приехали. Растрясло меня на колдобинах. Печенка – в одном углу кузова, мочевого пузырь – в другом, в остальных – руки, ноги. Вылезаю. Отдолдонил: «Он же, он же, он же, он же Харитон Устиныч Йорк, пятьдесят восьмая, через скотоложство с подрывом валютного состояния Родины... по рукам, по рогам, по ногам и тэ дэ».

Вышел поглядеть на меня сам кум.

– Прошу, – говорю, – нары в правом дальнем углу и в теплом бараке.

Тут кум меня спрашивает:

– Упираться, чума, будешь? Говори сразу!

– Всегда, – говорю, – готов, но надо суток трое оклематься после общего наркоза.

Короче, Коля, так я истосковался в своей третьей комфортабельной по отвратительным человеческим лицам, что расстрекался неимоверно. К тому же отогрелся на вахте. Кум на всякий случай кое-что из моего треканья записал.

И прошел я в барак веселый оттого, что я живой, руки-ноги кукарекают, небо сияет по-прежнему над головой, земля, хоть и казенная, носить меня продолжает, и главное, самое страшное позади, а впереди что будет, то будет, спасибо тебе, ангел-хранитель, друг любезный, и прости за выпавшее на твою долю трудное дело: вырвать такого окаянного человека, как я, из дьявольских лап уныния и смерти!..

Вхожу, значит, в барак вместе с кумом Дзюбой. Глаза у него были темно-карие, а белки желто-красные. Он напоследок сказал, что если начну чумить, то он быстро приделает мне заячьи уши, потому что лично расстрелял и заставил повеситься от невыносимости следствия тысячу девятьсот тридцать семь человек в честь того замечательного года и не дрогнет перед тридцать восьмым, хотя ушел вот уж как год в отставку.

Пока мы шли в барак по зоне, я успел спросить, были ли среди расстрелянных Дзюбой врагов знаменитые люди? Сказалось, что были. Каменев, Розенгольц, Блюхер, граф Шереметьев, графиня Орлова, сыновья Дурново и, в общем, все

большие представители высшего дворянства и священники.

Входим в барак. Все встают, как в первом классе, только медленно. Дзюба говорит:

– Вот вам староста, фашистские падлы! Выкладываете международные арены, пока шмон не устроил, сутки в забое продержу!!! Живо!

Смотрю, таранят несколько эков какие-то дощечки и тряпочки с какими-то стрелками и кружочками. Они на этих дощечках и тряпочках, поскольку жить не могли без политики, занимались расстановкой сил на международной арене.

– Сколько можно напоминать, проститутки, что азартные игры запрещены? Фишек не вижу! Живо сюда свои монополии, концерны, картели, колонии, буржуазные партии и так далее... Экономический кризис капитализма опять притырили? Не дождетесь нашего поражения, сколько бы вы ни тешили себя на нарах! Расстановка сил на международной арене снова в нашу, а не в вашу пользу! Поняли, кадетские хари и эсерские рожи? У нас бомба водородная появилась! Съели, гаденыши!

Ты бы посмотрел, Коля, что стало при этом известии твориться в бараке! Эти зачуханные, опухшие, седые, худые, голодные, бледные эки заплясали от радости, начали трясти друг другу руки, обниматься, целоваться, а один, жилистый такой, с бородкой и в пенсне, слезы вытирает и говорит Дзюбе:

– Да поймите вы наконец, гражданин надзиратель, что у

нас и у нас одна конечная цель – мировая коммуна, и если мы разыгрываем на самодельных международных аренах классовые бои, то это исключительно из желания, чтобы некоторые наши тактические и стратегические задумки стали оружием в борьбе пролетариата против фашизма и капитала. Поймите и то, что мы приподнялись над личными трагедиями, над наветами, над самой страшной для человека нового типа из всех земных мук – мукой отлучения от партии и ее дел. Приподнялись ради веры в объективный ход истории, ради глубокого уважения к нестигаемому слуге Исторической Необходимости Сталину. Отошлите наши труды в ЦЕКА. Товарищи оценят ваш шаг. Вы окажете неоценимую услугу рабочему движению! И разрешите нам передать приветствие партии в связи со взрывом водородной бомбы.

Дзюба на это отвечает:

– Про взрыв, Чернолюбов, забудь. Тебе не положено иметь информации. А задумки свои стратегические и тактические давай.

Чернолюбов по новой его спрашивает:

– Спасибо. Партийное спасибо. А на наше предложение совершить террористический акт против Тито и его клики пришел ответ?

– Пока нема ответа. Думает партия.

– Странно. Сейчас очень выгодный момент для ликвидации Иуды и превентивного нападения на Югославию. Неужели ЦЕКА не понимает, что ревизионизм должен быть уни-

чтожен в зародыше? Скажите, гражданин надзиратель, проект о внедрении в ряды республиканской партии США и консервативной партии Англии наших товарищей отослан Кагановичу?

– Отослан. Разглядывают его. Прикидывают, что к чему.

– Как мы все-таки медленно чешемся! Как мы привыкли к тому, что время работает только на нас! И еще один вопрос. Два года тому назад вы сказали, что наш план объявления Америке экономической блокады одобрен Сталиным. Как в таком случае обстоят дела?

– Дела обстоят, как говорят, неплохо. На бирже у них паникуют. В половине штатов рабочие объявили безработицу. Пить начали. А как побросали наши послы яду, который наш этот... ну он еще дуба дал... ага, Хабибулин, то пшеница вся полегла, скот мрет и в Чикаго мясокомбинат прикрыли. Такие дела. Бурлит Америка.

– Вот это – радость! Товарищи! Почтим минутой молчания память настоящего партийного химика Хабибулина. Он не дожил двух дней до победы. Ведь это же кризис мировой капиталистической системы!

И опять, Коля, бывшие большевики начали целоваться, а Дзюба говорит:

– Я знаю, Чернолюбов, куда ты, пропадлина, гнешь, но мне мозги зае... трудно. Кто их зае... тот и дня не проживет. Скидывай портки, вставай раком, вертай из заднего прохода фишку мирного кризиса! Вот так! Ты гляди! И националь-

но-освободительные движения ухитрился туда же засунуть! И соцреализм вбил! Вот чума! Староста! Как заметишь, что снова гады не спят, а силы на аренах восстанавливают, так с ходу стучи на вахту! Спать, сволочи! Отбой!

Отвалил Дзюба, а Чернолюбов, Коля, подходит ко мне и руку протягивает:

– Вы давно с воли, товарищ?

Я отвечаю, что уже полгода, как захомутали, и тогда они на меня, как мураши на палого жучка, накинулись и давай тормозить. «Что нового?.. Что нового?.. О чем думает ленинградская партийная организация? По-прежнему ли кадры решают все? Издают ли Маяковского? Большие ли очереди в Мавзолей? Скажите, как Сталин? По-прежнему ли Микоян курирует еду и экспорт, а Каганович – Украину и метро? А как молодежь? Будьте добры, товарищ, пару слов об энтузиазме масс и международном положении, будьте добры! И главное, понимает ли так называемый свободный мир, куда он катится?»

Надо сказать, Коля, что режим у этих фраеров был сверхстрогим. Они ни хрена не слушали радио и забыли, что такое газета «Правда». Ну, я и понес им парашу за парашей.

– Черчилля, – говорю, – судят в Мосгорсуде за Фултонскую речь, а в Швейцарии к власти пришли люди с чистой совестью – украинские партизаны-разведчики, и весь почти мировой капитал теперь наш. Ну что еще? Еще ленинградская организация думает, что ее вовремя и совершенно вер-

но обезглавили. А над Африкой летают наши воздушные шары и кидают вниз призывы резать белых колонизаторов. Латинская Америка бурлит. Все обречено на провал. Основным фактором этого провала является образование Китайской Народной Республики.

Ну, Коля, тут они совсем очумели.

– Он был прав!.. Ильич был прав!.. Все-таки Джугашвили, при всем его хамстве, гениальный практик! Ура! Надо сделать из простыни мировую арену и взглянуть, что же это теперь у нас получается! Поем про себя «Интернационал»!!!

Это сказал Чернолюбов, и все они, Коля, встали обалдело, по щекам слезы текут, по горлам кадыки так и ходят, кого-то на нары уложили – сердце схватило, но допели про себя свой гимн до конца. Допели, Чернолюбов, жилистый, желтолицый, партийное собрание открыл. Выбрали они почетный президиум в составе Кырлы Мырлы, Энгельса, Ленина, Сталина, Бухарина, Буденного, Жака Дюкло, Тореза, Тольятти, Мао Цзэдуна, Николая Островского и Ежова. Резолюцию приняли: одобрить деятельность политбюро. Голосовали кто «за», кто «против». Воду из чайника выступавшие пили. Все чин по чину. Хлебом, я понял, их не корми, а дай посидеть на собрании. Потом Чернолюбов мне говорит, чтобы я рассказал партгруппе о себе.

– Ну я, – говорю, – буду краток: ваш ум, вашу честь и совесть вашей эпохи я в гробу видел в красных тапочках. Мир переделывать никогда не желал. Милостей у природы силой

не брал. Экспроприировал только лишнее у сильных мира сего. Двигал фуфлю многим государствам, но людям зла не причинил, хотя знаю шесть с половиной языков. Принципиально не участвую в строительстве сомнительного будущего. Оставил на свободе музей бумажников, портфелей и моноклей выдающихся политических деятелей Польши, Румынии, Англии, Японии, Марокко, Германии, Коста-Рики и других стран. Болел три раза триппером. Изнасиловал и зверски убил в Московском зоопарке в ночь с 9 января 1789 года на 14 июля 1905 года кенгуру Джемму, за что и приговорен к четвертаку Нарсудом Красной Пресни.

Пошумели они, посовещались и вынесли, Коля, резолюцию, что посадка к старейшим членам партии, бравшим Зимний и бок о бок работавшим с Лениным, уголовного-рецидивиста – злобный цинизм и нарушение Женевской конвенции о чудесном отношении к политическим заключенным.

Потом я им много еще чего натрекал о внутреннем положении, о голодухе, о посадках, о великом полководце всех времен и народов, которого надо бы пустить по делу об убийстве и расчлененке миллионов солдат, о сроках за опоздание на ишачью работу.

Натрекал я им, как простой человек, пока из конца в конец Москвы до работы доедет, намнется в трамваях и редких троллейбусах, перегрызется с такими же затравленными займами и собраниями харями, как он сам, что встает на

трудовую вахту в честь выборов в нарсуды злой почище голодного волка. И только из страха, что посадят, поджигает свой хвост и зубы скалит после стакана водяры.

– Зато у нас самая низкая в мире квартплата! – говорит мне, сверкая тупыми глазами, Чернолюбов.

Тут я им, спасителям нашим, врезал кое-что о плотности душ на метр населения в коммуналках и как в комнатухе невозможно достойно переспать папе с мамой, потому что детишки просыпаются и плачут или же смеются, не понимая душевного, простого и великого, почище, чем рекорд Стаханова, события, происходящего на узкой кровати. Молодым же людям разгуляться негде после свадьбы. Какое же при родне в одной комнате гулево?

– Самая низкая квартплата! Вы бы поглядели, как самые передовые люди планеты глотки друг другу грызут на кухоньках перед краником одним-единственным. Вы бы поглядели, как они харкают в борщи соседей, шпарят их кипятком, выживают, доносят, травят, песен петь не дают, пустые бутылки воруют. Я сам Зойке kloпа перед арестом подкинул из уважения к живому существу. Вы бы поглядели, спецы хреновые по народно-освободительным движениям, как ваши человеки нового типа яростно возненавидели одно только соседство с другими двуногими и сходят от этой ненависти с ума, или же перекашивают их несчастные рыла инсульты и разрывают ожесточившиеся и слабые сердца инфаркты! Вы бы поглядели! А в отдельных, – говорю, – квартирах жи-

вут отдельные же товарищи, их по пальцам сосчитать можно, и прочие народные артисты, они же кукрыниксы, они же броненосцы потемкины, они же мистеры твистеры, они же разгромы, они же коммунисты на допросе, они же веселые ребята, они же атомная бомба, танец сабель, короче говоря – утро нашей Родины.

А Чернолюбов все не унимается:

– Весь мир завидует нашему бесплатному медобслуживанию, нашим лекарствам и нашим человеко-койкам! Вы и это отрицаете?

– Да, – говорю, – отрицаю, потому что жил с пятью участковыми врачами, и они мне такого порассказали о бесплатном медобслуживании, что у меня волосы дыбом встали. Ведь у них, – говорю, – времени на больных нету. Они их шуруют быстрее, чем детали на заводе Форда, а за ваше бесплатное обслуживание приходится платить самым дорогим – здоровьем. К тому же если врача долго держит работягу на больничном, то ее в партком дергают, и последнюю мою бабу за саботаж просто посадили, видите ли, вовремя не выписала на работу какого-то бригадира монтажников, они без него запили и к Первому мая Берию и Молотова не успели повесить на ДOME правительства. Так что, – говорю, – помалкивай, Чернолюбов, он же «Что делать?».

Эх и завизжал он, Коля, забился:

– Энтузиазм двадцатых годов! Энтузиазм тридцатых годов!

А я ему отвечаю, что если энтузиазм двадцатых годов вычесть из энтузиазма тридцатых годов, то остается всего-навсего десять лет за контрреволюционную пропаганду и агитацию. И вообще, – говорю, – идиоты, ваше счастье, что играете вы здесь на казенных нарах в игрулечки, в капиталистов-разбойников и в палочку-выручалочку кризиса и ни хрена не знали и не знаете реальной жизни, ибо ваша же партия избавила вас, самых нежных ее членов, от страха смотреть на построенный новый мир с Никемом, ставшим Всемом. Поняли, – говорю, – сохатые? А я специально приехал вам спасибо сказать, потому что кого же мне еще благодарить, как не вас, за все, что происходит с нормальным человеком Фан Фанычем? Историческую необходимость? Ей лапку не пожмешь! И не говори, Чернолюбов, что замысел у тебя был толковый, а исполнение вшивое, и ты за него не ответственный!

Неожиданно, Коля, четыре рыла побросали Чернолюбову свои партбилеты и залегли на нарах.

– И я, – говорю, – с этапа устал, спать хочу, скорей бы утро – снова на работу!

Выпьем, Коля, друг мой, душа моя, за антилоп, обезьян и рыжих лисиц! Если мы с тобой неважно себя в лагерях чувствуем, то представляешь, каково им? Об этом лучше не думать. Особенно антилопе тяжело. Ей же убегать от львицы надо. А лисичке каково? Ходит нервно из угла в угол, как ходят обычно врожденные мошенники по камере, и вспоми-

нает, рыжая, хитрые свои объебки петушков и курочек. Обезьяне-то один хрен, где в человека превращаться. Но все ж таки, Коля, на воле лучше, а главное, превращение обезьяны в человека на воле происходит гораздо медленней, чем в зоопарке. Проклятое, грешное перед микробами, змеями, бабочками, китами, травками, птицами, слонами, водой, горами и Богом человечество!

Но ты знаешь, заснуть мне в ту первую в лагере ночь Чернолюбов никак не давал. Устроил дискуссию: кончать меня или не кончать. Мое появление, видишь ли, поставило под угрозу единство рядов ихней подпольной партгруппы и внесло в сознание членов бациллу ликвидаторства и правого оппортунизма. И вообще я, Фан Фаныч, собрал в себе, как в капле воды, все худшие и вредоносные взгляды мещанского общества, для которого цель в жизни – в поездке на работу в пустом троллейбусе, в сидении по целому часу со своими любимыми болячками, сосудами и раками в кабинете врача, во фланировании по магазинам, заваленным продуктами и промтоварами первой и второй необходимости, которую это мещанское общество цинично противопоставило – в своей так называемой душе – необходимости исторической, самой любимой необходимости партии и правительства.

– Господину Йорку и ему подобным господам, – говорит Чернолюбов, – плевать на все трудности наши, плевать на происки реакции, плевать на то, что лучшие сыны народа США брошены в застенки, плевать на трагедию Испании,

Португалии и княжества Лихтенштейн. Плевать на раны войны, залечиваемые комсомолом, плевать на шедевральное открытие марксистской экономической мысли – тру-додень, плевать на план ГОЭЛРО, плевать на ленинскую простоту и скромность, плевать на наши органы, работающие в сложнейших условиях, подчас в темноте и на ощупь, плевать на ВДНХ, ОБЭХЭЭСЭС, ВЦСПС, РЭСЭФЭСЭРЭ, Центросоюз, ИМЛИ, ЦАГИ, ВБОН, МОПР, плевать на Стаханова, на Кожедуба, на Эйзенштейна, на Хачатуряна, на Кукрыниксов, а главное, на голос Юрия Левитана, мировой экономический кризис и ЦПКиО имени Горького. Все взять от партии и не отдать ей ничего, кроме черной неблагодарности за бесплатное медобслуживание и самую низкую в мире смертность и квартплату, – вот, собственно, в двух словах, – говорит Чернолюбов, – цель новой оппозиции. И немудрено, что она бесится с жиру, разлагается и уже дошла до сожительства с представителями экзотических животных, направленных партией и правительством в зоопарки для сохранения в неволе своих видов от полного уничтожения на свободе сыновьями мультимиллионеров и горе-писателем Хемингуэем. Позволительно, – говорит Чернолюбов, – спросить у господина Йорка, когда он проснется, сколько сребреников получил он от плана Маршалла за бешеную, за ядовитую карикатуру на наши коммунальные квартиры – эти прообразы коммун грядущего? Мы обязаны сейчас же вынести на голосование две резолюции. Первая – о кооптировании в чле-

ны ЦК старшего надзирателя Дзюбы, ибо он в сложнейшей внутриполитической ситуации служит связным между нами, субъективными жертвами объективной исторической ошибки, и сталинским политбюро. Вторая резолюция: мы, старые большевики, с риском для жизни бравшие Зимний и работавшие бок о бок с Ильичом, полны решимости ликвидировать пробравшегося в наши ряды ликвидатора, оппортуниста и злого кенгуроложца Йорка Харитона Устиновича. Кто «за»? Предлагаю голосовать за обе резолюции сразу.

Подсчитал, Коля, Чернолюбов голоса, протер пенсне, потербил бородку, и, оказывается, все воздержались. Он один проголосовал за кооптирование в члены ЦК Дзюбы и мою ликвидацию. Проголосовал, спросил уныло собрание: «Что делать?» – и сам же себе ответил: «Делать нечего. Приговор партии будет приведен в исполнение. Мы вынуждены сделать принципиальную уступку нечаевщине».

Все же, Коля, интересно мне было побывать, первый и последний раз в жизни, на партсобрании. Конца я его не дождался. Закемарил. Сладко спалось мне на нарах, лучше, чем на тахте, отначенной Ягодой у Рябушинского.

Тут у меня вдруг из левого моего шнифта искры посыпались, очень больно стало, я просыпаюсь, думаю в первый момент, что Чернолюбов покушение на мою особу устроил, и решаю со злости ноги у него выдернуть, поскольку я не либерал какой-нибудь Витте, а нормальный человек Фан Фаныч. Просыпаюсь, значит, окончательно, а в бараке – последний

день Помпеи! Света нету, шум стоит, зубы скрипят, хрип.

Зажигаю спичку. Человек двадцать бьются в падучей, в проходах между нарами и отдельно друг на дружке. Совершеннейшая каша, в окно луна светит, на вышках на всякий случай стреляют в эту белую луну, а эпилептики от выстрелов попадали с нар, бьются в падучей, стонут, хрипят, языки перекусывают, зубами скрежещут. Надо им под головы подушки подкладывать, ложками языки прикусанные освобождать, руки-ноги держать, жалеть, испарину со лба вытирать, а Чернолюбов сидит на нарах, покуривает солому из матраца и говорит мне как ни в чем не бывало:

— Эта эпилептическая зараза от Достоевского у нас пошла. Почему мы с Белинским тогда его не ликвидировали? Не понимаю. Ведь ничего подобного мы бы сейчас с вами не наблюдали.

Пришел надзор с керосиновыми лампами. Стоят мусора, от хохота надрываются, за животы держатся, некоторые даже своих баб и детей привели посмотреть на такое представление. Начали я и еще четверо, побросавших вечером свои партбилеты, успокаивать больных. К утру успокоили. Смотреть на них было страшно. Рыла синие, рты в крови, еле дышат, и несчастные у всех, мертвые уже почти, нечеловеческие глаза. В зрачках по желтой лампочке Ильича. Они зажглись под утро.

Подкемарить, Коля, в ту ночь я так и не успел. Рельса звякнула. Подъем. Птюху притаранили. Потом налили по

миске ржавой шелюмки. Подхожу к Чернолюбову и говорю, что если только замечу вторую попытку покушения на мою личность, то вечноголодные вохровские псы обглодают его до самой шкелетины, а обглоданную шкелетину я, освободившись, оттараню в Музей революции. Схавал он мои слова и отвечает, что речь шла действительно обо мне, но не о покушении на меня, а о попытке привлечь к изучению истории партии, которое эквивалентно моей ликвидации и даже еще более эффективно.

– А теперь расскажите, товарищ Йорк, что еще нового на воле? Как Организация Объединенных Наций? По-прежнему ли это послушное орудие действует по указке США и неужели партия не понимает, что Вышинский – палач и провокатор охраны на трибуне ООН – компрометанс? Ведь мы сами компрометируем себя на каждом шагу!

Тут, Коля, Чернолюбов потрепал меня по плечу, ухмыльнулся, как провинциальный босяк, и говорит:

– Ну хватит, хватит. Мы раскололи вас. Вы – английский товарищ. Чувствуется почерк Галахера. Большой мастер. Я не удивлюсь, когда узнаю, что английский двор вступил в партию. Где ваш мандат, Йорк?

Тут я с ходу затемнил, разошелся, похвалил всех за то, что не поддались на провокацию и продолжают оставаться крупными деятелями Коминтерна и МОПРа.

– А посажены вы, – говорю, – лично Сталиным по согласованию с Торезом, Тольятти и Тельманом для сохранения

ваших жизней. Ибо на воле во всем мире идет тотальная война на уничтожение старых большевиков, бравших Зимний и работавших бок о бок с Лениным и Свердловым. Даже внутри нашей, – говорю, – страны трудно поддающиеся разоблачению силы не останавливаются ни перед чем. Поэтому план партии вынужден был быть, как всегда, гениальным и простым. Так что от имени политбюро тридцати компартий имею честь передать вам, героям нашего времени, о том, что вы не осуждены. Вы, товарищи, тщательно законспирированы, и ни гестапо, ни ФБР, ни Сюрте женераль, ни наш Интеллиженс сервис и другие выдающиеся легавки мира не дотянутся кровавыми своими лапами до ваших жизней.

Сначала, Коля, я просто растрекался от злобы и мертвой тоски, но смотрю: разрыдались по новой, слушая меня, мои большевики, за руки взялись, и даже те, которые после групповой падучей закукарекали потихонечку, задышали поглубже, бедняги, глаза у них слегка ожили и синие губы порозовели.

Опять стоят и поют, мычат, от волнения голоса обрываются внутрих, свой гимн. «Мы наш, мы новый мир построим...» Пойте, думаю, птички, пойте, стройте на самодельных международных аренах новый мир и перелицовывайте под руководством своего главного закройщика и бухгалтера революции Кырлы Мырлы мир старый.

Давай, Коля, выпьем за всех пойманных и распятых бабочек, и за жуков, и за живых птиц, ставших чучелами, и за

то, чтобы нам с тобой никогда не перелицовывать ни старых костюмов, ни старых пальто.

Между нами, я, мудила из Нижнего Тагила и Вася с Курской аномалии, перелицевал однажды в Берлине в 1929 году и костюм, и пальто. Была инфляция. Я куропчить не успевал. Уведу миллион марок, скажем, а они поутрянке превращаются в пшик. Я поистрепался, прихожу к Розе Люксембург и Кырле Либкнехту в гости и спрашиваю:

– Что делать, урки?

Они и посоветовали все перелицевать. Нашли портного, Соломона. Перелицевал он мне пальто и костюм блестяще, Коля! Стали как новенькие. Хожу по Ундер дер Линден с тросточкой, но в душе какое-то странное ощущаю бздюмо. Нету в ней веселой и гордой независимости от временной одежды человека на этой земле. Нету – и все.

Хожу, поеживаюсь непонятно отчего и зачем. Словно блоха меня кусает или занозинка колючая пощекочивает. В витринах отражаюсь, оглядываю себя втихаря, перед зеркалом стою, галстук поправляю, а сам пронзаю взглядом пальто и костюм, расколоть их пытаюсь. Что с вами такое стало? Чего вам на мне не живется? Сидите-то чудесно! И выглажены вы, и хризантема притыривает шрам от карманчика – по твоей, Коля, фене, чердачка. Ну что с того, что кое-что левое стало правым и наоборот, правое левым? Это же моя беда с непривычки пальцы ломать, пока ширинку расстегиваешь.

Что с вами, гадины, и с настроением вашим костюмным и пальтовым происходит? Гордо молчат, продолжая сидеть на мне как с иголки. А во мне неуверенность появилась во время работы из-за враждебного такого отношения. Вздрагиваю. Оглядываюсь, когда надо раскидывать по сторонам прямым взглядом своим камердинеров, дворецких и секретарей.

За столом или аляфуршет просто не знаю, куда себя девать. Пасу на симфоническом концерте няню Гинденбурга, бриллианты у нее в ушах, слушаю того же Шостаковича и потею. Спина у меня потеет! Чувствую, что пиджак нарочно это делает, настырничает, тварь, а брюки морально поддерживают его. Собираются в складки на коленках и мотне и шуршат. И карманы шумят, как морские раковины. У-у-у. Ерзаю на своем стуле, откидном к тому же. Откидной стул, Коля, это окончательное падение и унижение. Какой-то фашист вежливо мне шепчет:

– Вы пришли слушать музыку. Если она вам не нравится, идите в бордель!

Промолчал я. Сдержался. Но открутил с мясом одну пуговицу с пиджака и ущипнул ширинку от невыносимого раздражения. Тут дирижер Тосканини обернулся и палочкой лично мне погрозил: цыц! Я задумался, как он мог, стоя спиной к залу, прокнокать майн кампф со шмутками? Шума же оттого, что я открутил пуговицу с мясом, не было никакого! Брюки не хипежили от внезапной боли, а пиджак не свалил-

ся с меня после жуткого крика в обморок! Зеркал никаких перед шнифтами Тосканини не было. «Может, — думаю, — настучал кто-нибудь из оркестрантов?» Нет, все они в свои ноты косяка давят или же от удовольствия закатывают шнифты под потолок. Очень меня удивил дирижер Тосканини.

Костюм меж тем успокоился. Сжался в комочек и плачет. Плачь, сука, плачь! Я тебе еще не такое устрою! Я тебя спичками прижигать буду, если не смиришься! Сгною гадину! Каустиком оболью!

Антракт. В буфет я не пошел. Фланирую по фойе. Монотонно вставил. А на меня что-то все кнокают, перешептываются, нагло и издевательски ухмыляются. Костюм, почуяв это, снова поддал спине жару. О подмышках я уж не говорю. Там была парилка. Коленки, Коля, коленки, которые у людей вообще вроде бы не потеют никогда, возьми и исключительно мне назло запотели, прилипли к брюкам. Пришлось руки в карманы засовывать и втихаря брюки одергивать. Так что антракт этот был для меня хуже концерта.

Прислонился я к колонне, смертельно ненавидя свой костюм, а пиджак тем же отвечает, колет сквозь рубашку, подлец, свиной щетиной. Я один борт оттягиваю, меня другой колет! Я стараюсь свободное пространство внутри пиджака обнаружить, чтобы не прикасаться к нему вовсе, искореживаюсь, сам в себя вжимаюсь, третий уже звонок, но ни хера не получается.

Сажусь на свое место. Колется и колется. Все больше ще-

тина ошетиливается, и так она вдруг меня вся разом щекотнула, что я задвигал руками, как паровоз, зачесался и громко засмеялся. Зашикали фашисты. Тосканини через плечо снова голову повернул и смерил меня итальянским взглядом, как макаронину какую-нибудь. Оркестр что-то вякнул, и про меня все забыли, слава богу. Только тот же самый жирный фашист прошипел:

– На вашем месте я бы давно был в борделе. Там, повторяю, хорошо!

Я написал записку с понтом от какого-то немца из зала, передал ее бабе фашиста и рванул на выход, потому что, по моему, Коля, весь зал и Тосканини с оркестром с интересом смотрели на мой зад. Ведь пиджак что сделал? Приподнялся в плечах, а брюки только того и ждали, влезли в промежность, да так глубоко и крепко, будто я втянул их в себя усилием воли. На ходу нагибаюсь, двигаю всеми мускулами и мясом несчастной моей задницы, но понимаю всей душой – бесполезняк! Зашел за бархатную штору, дернул брючину так, что сам себя больно ущипнул, и обтер лицо той же шторинкой. Выглянул из-за нее. Баба фашиста дочитала записку, встала – и бамс ему по рылу. Шумок. Тосканини задрожал от бешенства. Палочку кинул в оркестр... Баба, рыдая, бежит ко мне за шторы – и в дверь. Задела меня бедром и грудью. Кто-то захипежил в зале.

– Пора решительно покончить с выходками социал-демократического отродья. Мы, немцы, всегда славились умени-

ем слушать музыку! Мы – нация философов, а не евреев! – Я его рассмотрел: челочка и усики под носом. Черненькие. А муж, которому по рылу попало, завопил, жирная свинья: «Хайль, Гитлер!» Я и рванул когти в свою малину на Гегелевском бульваре.

Прибегаю. Снимаю сначала в бешенстве брюки и ими Гретхен свою безо всяких комментариев поступка по харе – хрясть, хрясть, хрясть! Затем пиджаком мух стал гонять. Понимаю, разумеется, что я не прав, и омерзителен, и виноват перед бедной женщиной и мухами, но ведь так повелось, что все свое зло мы срываем как раз на тех, кто не идет по делу с причинами нашего бешенства, неудач, гонений и мертвой тоски... Топчу ногами костюм. Пена на губах выступила. Лег на диван. Плачу. И она тоже. Оба плачем. С другой стороны, если бы мы срывали зло на истинных виновниках дерьма нашей судьбы, то перед кем же тогда, спрашивается, Коля, мы извинялись бы, замаливали грехи и страдали? Потом бурно помирились.

Утром она погладила костюм. На него смотреть было страшно. Может, думаю, другим станет? Какое там!

При настроении бывал, тварь, вместе с пальто, в холодном и враждебном, но вежливом ко мне отношении, а как закиснут, закусятся – то повело подлости делать. Пиджак особенно любил тогда терять хризантему или гвоздику, которыми я прикрывал шрам от перелицованного кармана. «Смотрите, мол, мне нечего скрывать! Смотрите! Мне за себя не

стыдно! Я – пиджак бедный, но честный!»

Нет, Коля! Ты много чего испытал в своей жизни – пересылку Ванинскую прошел, суки на тебя с пиками холили, в кандеях тебя клопами и голодом морили, в «Столыпине» ты трясся и подыхал там же от безводья пострашней, чем в пустыне Сахаре, ибо в пустыне бывают миражи, – но ты, Коля, не испытывал на своей шкуре и, даст Бог, никогда не испытаешь, как шантажируют нормального человека во время инфляции предметы ширпотреба, мать их ети, и продукты питания!

Закадрил я, как теперь говорит молодежь, в чудесном музее одну аристократку. Бедную аристократку. Чтобы выглядеть поэlegantней, она – я с ходу это заметил – тоже проделала со своими шмутками что-то сверххитромудрое. Но бабский туалет, сам понимаешь, гораздо сложнее нашего, и предметов в нем намного больше. Да и кальсоны, скажем, при инфляции заштопать можно, а то и вовсе не носить. Но ты мне ответь, как быть бедной и милой женщине с чулочками? Как ей быть с туфельками? Она же после первой набойки стареет в душе на пять лет, а после второй сразу на двадцать, и ей тоскливо и неприятно ходить по земле. О штопке на чулочках мы лучше вообще говорить не будем. Штопки эти не заживают в душе у женщины, как раны на наших мужских сердцах, Коля...

Мы вместе с дамочкой любовались сытым натюрмортом, и я сделал вид, что не заметил, как бедная женщина в строгом

костюмчике, с лапками, засунутыми в кротовую муфточку, сглотнула слюнки... Оторвала шейку омара и раздумывала, чем бы ее запить... А выбор выпивона и закусона в том наторморе был богатый. Ах, Коля, как сжалось сердце и как я покраснел, когда просек, что и ее изящный костюмчик перелицован. Перелицован, причем гениально! И расколол это дело один я из всей немецкой толпы! Меня не проведешь!

Некоторая изнанка, когда становится вдруг ни с того ни с сего непонятно для нее самой стороной лицевую, начинается, сучара поганая, держаться с нагловатым шиком и, более того, с вызовом. И чем дороже и великолепней был в прошлом перелицованный материал – габардин, скажем, или ратин какой-нибудь, – тем хамовитей, вызывающе наглей и самостоятельней старается держаться сделавшая неожиданную карьеру на инфляции и на человеческом несчастье подлючья изнанка. Была она Никем и вдруг стала, так сказать, Всем. Но не забывает, Коля, ни на секунду изнанка в ошеломившей ее радости того, что нет у нее светлого будущего. Нема! И портной не возьмется, да и сам человек не отважится переперелицевать костюмчик или пальтуканчик. Кроме всего прочего, тлен неверной материи не позволит этого сделать. Очень, однако, живучи, Коля, такие вот изнанки. Каким-то образом, то ли благодаря страху неминуемого конца и ежесекундному цеплянию за жизнь или же чудовищной экономической расчетливости изнанка ухитряется прожить на белом свете гораздо дольше лицевой стороны. Гораздо дольше.

Так вот, сияет от радости новой жизни кремовая мягкая шерсть дамочкиного строгого костюмчика, греют друг друга лапки в кротовой берложке, а сама шкурка, видать, намазана слегка глицерином перед походом в музей, чтобы выглядеть не такой старой и вытертой. Остались мы с дамочкой вдвоем у натюрморта. Дохавали все, что на нем было. Оставили только фазаньи крылышки, да макушки ананасов с лимонными кожурками и красные панцири раков и омаров. Дохавали, переглянулись сыто и довольно, и поканал я за ней следом в другие залы.

– Посмотри, позорник, – говорю своему костюму, – как надо себя вести в обществе! Что тебе мешает иметь такой же приличный характер? Ведь дамочкин костюмчик тоже из вашей перелицованной шатии-братии, а как держится! Просто маркиз, барон, мясник и почти генерал-лейтенант! – Молчит костюм. Не хамит. Пиджак на мне уселся поудобней. Лацканы уши свои востренькие к бортам прижали, и перестали пуговицы терзаться, что разлучили их навек со старыми петельками, а обручили с новыми, самозванными. И стрелки на брюках вдруг появились, и спокойно плывут мои брючины, словно лодки по озеру, по очереди обгоняя друг друга. Достойно, в общем, шагаю.

Но тут, на наше несчастье, приканали мы с дамочкой на экспозицию мужской и дамской одежды девятнадцатого века. Костюмам всяким, Коля, камзолам, накидкам, балдахинам, фракам, дамским платьям, отделанным мехами и ка-

мешками, чуть не сто лет, а то и больше, а они, плюя на нас, выглядят веселыми, молодыми и сами себя уважающими вещами. Трогаем мы с дамочкой разные сукна, шелка, бархаты и так далее, как будто мы специалисты-модельеры. Хотим найти и расколоть какую-нибудь перелицованную шмутку. Ищем и не находим! И дамочка вдруг ни с того ни с сего прижалась щекой к орденоносной груди черно-золотого талейрановского мундира и горько-горько заплакала.

– Извините, – говорю, – фрау, вы не потеряли чего-либо? – (Грустно головкой она помотала.) – Вам плохо?

– Мне жаль, что навсегда, что... никогда... что больше никогда ничего... что все ужасно... ужасно... ужасно! – говорит дамочка и платочек роняет.

Веришь, Коля, внутренний голос мне толкует: «Ни в коем случае не нагибайся!» – но ситуация истинно драматическая. Я нагнулся, предчувствуя нечто непоправимое, и так оно, сука, и есть! Лопаются по шву, главное, со злорадным звуком, проклятые брюки мои на самой заднице и торжествуют! Пиджак кричит: «Браво! Браво!»

Разгибаюсь. Несмотря на жалкий стыд и жар в лице, подаю дамочке платочек. Сам притырываю свой зад, свой хуже, чем голый, если как следует разобраться, зад. Что я пережил тогда, Коля!!! Боже мой!!!

– Благодарю. Вы очень любезны.

– Буду рад, – отвечаю, – напомнить вам, фрау, о себе в лучшие времена.

– Вот моя визитная карточка. Ауфидерзеен. Мне дурно от нафталина. Не провожайте меня, прошу вас. Вот английская булавка, – говорит дамочка, ибо просекла случившуюся трагедию.

Поканал к выходу. Делать нечего. Стараюсь сложить половинки брюк поровней. Сложил. Причем притыкивал меня манекен гофмаршала австрийского двора в парадной форме. Сложил. Поддеваю булавкой, просунутой через ширинку, половинки эти изнутри, обливаюсь потом от напряжения и вдруг хипежу на весь музей.

– А-а-а! – Это я всадил-таки себе в мягкость булавку.

Служитель подходит.

– Вас ист дас?

– В восторге, – говорю, – от экспозиции! Какие моды! Какие вещи! И ни одной перелицованной!

– Увы, это так, – сказал служитель. – Но выражайте, пожалуйста, свой восторг не так бурно. Гут?

– Гут, – говорю я и от отчаяния решаю слинять из музея с рваным тендером. Воли у меня, однако, на этот шаг не хватило. А костюм хохочет тем временем от радости, что больно мне в совершеннейшем унижении, и дергается весь, заходится прямо, и пытается при этом вывернуться наизнанку, вернее, на бывшую свою лицевую сторону, тварь такая! «Ты еще у меня узнаешь, гадина, – говорю пиджаку, – как орать „Браво! Браво!“ Ты у меня еще узнаешь и содрогнешься».

Пытаюсь, Коля, еще раз, уже теперь снаружи, приколоть

половинку. Действую осторожно. «Неужели, — думаю, — удалось мне однажды взять челюсть с платиновыми зубами и алмазными пломбами у старого барона Брошке, и он этого не заметил, ибо два часа разинув рот кнокал в Лувре на Жюконду, а тут не удастся заколоть брюки?»

— О-о-о! — Я все ж таки по новой влупил себе, Коля, булавку. С психу втыкаю ее по самую головку в зад гофмаршала австрийского двора и вмиг, непостижимо почему, выхожу из плебейского состояния во вдохновенное и аристократическое. Именно в таком состоянии нам удастся совершать чудесное в жизни, на опасной работе и еще, пожалуй, в цирке. Я все ж таки эквилибристом бывал... Слева от гофмаршала стоял сам господин Ротшильд в черном, тончайшего сукна костюме с котелком на манекенской роже и с тросточкой в мертвой руке. На табличке так и было написано: «Костюм барона Ротшильда. Из частного собрания кн. Юсупова».

С Ротшильдом мы были примерно одинаковой комплекции. Действуя с азартом, который на самом-то деле, Коля, является веселым страхом, выбираю момент, остаюсь в кальсонах, сволачиваю с Ротшильда брючата, приподняв легонький манекен, и быстро наблочиваю их на себя. Жмут. Узки. Фасон нелепый, но передать тебе, Коля, что ощутил мой зад и мои ноги от прикосновения тончайшего, бессмертного почти сукна, я не смогу. Не смогу. Свои брюки, скрежеща зубами от ненависти, засовываю под пиджак. Говорю: извините, господин Ротшильд. И намыливаюсь к выходу.

Не спешу. Оглядываюсь. Жалкий вид у могучего финансиста, ни разу в жизни, очевидно, не испытывавшего мучительных отношений со своими шмутками и в гробу выдавшего любые инфляции. Жалкий. Но я не торжествую над его посмертным унижением. Я замечаю, как гримаса ужаса искажила черный сюртук, как он пытается сорваться с манекена и броситься за мной и как текут по нему в два ручейка от ужасного горя слезы перламутровых пуговичек. Спазм сдавил мне горло, и я слинял из музея.

Выпьем, Коля, за райскую птицу и за павлина, которому приходится распускать хвост в тюрьме.

Слинял я, значит. Прикандехал домой. Иду к соседям. Сел за швейную машинку и раза четыре, задерживая подолгу иголку в шве, прострочил лопнувшие брюки. «Ну как, – говорю, – приятно, падлы?» Прогладила их опять моя Грехен, да так, что они слегка задымились. Ожог второй степени! Ротшильдовские брючата притыриваю в кладовке.

Вечером, думая о дамочке, иду в советское наше посольство погулять насчет годовщины Великого Октября. Нахавался. Напился. Бывший рабочий класс, перелицованный в дипломатов, умел гужеваться. И костюм мой чувствовал себя в своей тарелке. Беру севрюжки, маслин, сыра и звоню той дамочке, а мне отвечают:

– Два часа назад ее не стало.

Потом уж я узнал, что дамочка отравилась газом... Да, Коля, грустно. Грустно...

Поутрянке читаю в газете объявление: «Возвратившего брюки барона Ротшильда музею тряпок антикварных ждет вознаграждение. Звонить по тел...» Получаю несколько миллиардов, разумеется, подстраховавшись, от дирекции музея. Проедаем их с Гретхен, Кырлой и Розой...

Одежда моя продолжает надо мной изгиляться. Ширинка, где б ты думал, Коля, вдруг расстегнулась и конец галстука из нее торчал у всех на виду? В посольстве Англии, на дне рождения короля Георга, куда я забежал поужинать. Ты думаешь, я поужинал? Я съел, ты совершенно точно выразился, от х... уши. Подходит ко мне дуайен, высокомерно скидывает подбородок и своими вонючими глазами высокомерно же что-то маячит. Я сразу не просек, что именно, по сторонам смотрю и на анфилады, а он маячит и маячит... И только я ростбифа кровавого – сутки человек не жрал, дня рождения Георга дожидался – хотел похавать, к губам поднес, ноздрю раздул, как понял наконец этого дуайена,глянул вниз и увидел в ширинке конец галстука. Я слабой от горя рукой отложил двурогую золотую вилку с куском мяса на кусок лосося. Высомерно дал понять, что сигнал принят. Я, мол, вам за него от всей души благодарен. Сейчас же удаляюсь. Извинитесь за меня перед всеми присутствующими. Привет британской короне.

Смотрю, Коля, перед тем как незаметно и гордо удалиться и капли Зеленина принять в сортире от стука и боли смущенного и стонущего сердца, а за аляфуршетом никто не пьет и

не хавают. Все на меня давят косяка, и король Георг с портрета тоже. Что я пережил тогда, Коля, что я пережил! Отвалил, опозоренный в глазах берлинских дипломатов.

Роза Люксембург и Карл Либкнехт потом мне объяснили, что надо было хавать и пить как ни в чем не бывало, потому что высший свет хоть и заметит когда-нибудь курьез чужого туалета, но непременно сделает вид, что ничего не видит. Отвела она меня с Карлом к доктору одному. Доктор Фрейд. Добрый, но очень любопытный. Спрашивал даже, любил ли я в детстве нюхать пальцы после ковыряния в попке, грызли ногти на ногах, наблюдал ли акт между папой и мамой или ихние различные комбинации с друзьями дома, и велел вспомнить всю мою жизнь, ничего не скрывая ни от него, ни от себя. Пять суток подряд рассказывал я, а костюм и пальто валялись на полу в передней.

Диагноз мой оказался простым: комплекс неполноценности на почве инфляции. Прогулки перед сном. Душ Шарко. Гальванический воротник. В зеркало не смотреться ни в каком случае, ни под каким предлогом.

На следующий день была у меня еще одна беседа с доктором. Но странная штука, Коля, я то и дело возвращаюсь к пальто и костюму, хочу, чтобы обратил на них доктор Фрейд внимание, а он все к детству и к детству. Помню ли, как выскальзывал из чрева и как маменька молоко мне давала, долго ли сидел на горшке, позволял ли котенку играть со своей пиписькой или, наоборот, хотел сварить ее в супе с клецка-

ми, а также обменять на куклу с густыми волосами и крохотными трусиками. Вывел он меня из себя, когда спросил, называл ли я шубку жопкой, пасеку – писькой, маму – папой и писал ли на свое отражение в луже.

– Хватит, – говорю, – доктор Фрейд! Может, вы и разбираетесь в ночных горшках и ненормальных людях, но в настраивании вещей, с которыми человек живет иногда больше, чем с бабами, не смыслите ни хрена. Рассчитаемся после инфляции. Желаю клиентов.

И ушел. Иду по Мамлакат Наханговой, извини, по Фридрих-штрассе. Промокло пальто мое насквозь. Накладные плечи опухли и приподнялись нагло. Издеваются нагло. Издеваются. Но и я шиплю: «Зонтика вам не будет!» По лужам шастаю, брюки мочу, душа из них вон, думаю. Туфли только жалко было. Они ведь ни при чем. Я их даже не чинил ни разу. До пиджака дождь добрался. Идти тяжело стало: столько воды впитали мои проклятые шмутки.

И внезапно, Коля, представил я себя на месте пальто и костюма. На их месте себя я представил. Жили они на мне, помогали работать, согревали, в конце концов, на лучшего из людей делали похожим и, несмотря на преклонный возраст, старались чудесно выглядеть. Они не теряли в старости своей, теперь я это точно знаю, достоинства, и я им был глубоко благодарен. Они же, Коля, вправе были рассчитывать и безусловно рассчитывали на нормальный закат своих дней, на гробик, куда нормальный человек Фан Фаныч не засыплет

нафталина и где не спеша превратит их бесшумная моль в счастливый прах. А я, как курва с Казанского вокзала, поддался вместо этого совету Розы с Карлом пойти по легкому пути и преподнес, идиот, служившим мне верой и правдой вещам подарочек! Я их, болван, перелицевал! Я их, амбал, переделать отдал портному Соломону!

Гром, Коля, грохочет, молнии расписываются на небе, как следователи на протоколе допроса, и попросил я прощения сначала у пальто, потом у костюма. «Правильно, – говорю, – вы взбунтовались, достоин я вашей жестокой мести и любой приговор близко к сердцу принимаю. Пойдемте, выпьем на прощание».

Хлобыстнул я шнапса в тошниловке, с поддачи плачу, гадина, потрекал со смертной душой вещей, которых из-за своей глупости, умных советов и инфляции обрек на унижение насильственной жизни.

– Люди, – говорю, – господа! – Тогда, Коля, в пивных речуги кидали. – Пусть все стареет и умирает в свой час, и даже тело Ленина похоронить надо, за что тело-то проклятыми опилками набивать, взятыми с цирковой арены после укрощения львов, рысей и тигров? Опилки же унижением зверей пахнут и мочой, господа!

Как услышали немцы про Ленина, Коля, так завопили: «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!» Все перепутали. Сижую. Еще поддал. Рукава родного пиджака слезы мои вытирают, а я убиваюсь, простить себе не могу перелицовки уважаемых

вещей. Они подсохли слегка, согрелись, прижались ко мне, ни встать, ни повернуться, и тут, Коля, все в моей природе и в жизни пошло по-другому.

Во-первых, на улице дождь перестал. Во-вторых, в пивную зашел тот самый тип из филармонии, жирная свинья, который по рылу схлопотал, а с ним другой: челочка, усики, коричневая бабочка под черным плащом. «Хайль Гитлер!» Это немцы с кружками поднялись тем двум навстречу. С усиками и говорит им:

– Урки, у меня полный лопатник фанеры. Крупп презентовал на то, чтобы поставить Европу раком. Гуляем! – Вешает плащ на спинку стула. На меня не обращает внимания – чего обращать? Сидит себе пьяная рвань и шнапсом наполняется. Смотрю: урки толковище устроили, и все насчет мокрых дел. Того, мол, надо замочить, этого заключить, одних сжечь, других заставить шестерить нашей высшей расе.

Не оборачиваюсь. Делаю свой коронный пассаж левой с вывихом плеча. Увожу лопатник с фанерой Круппа из плаща с усиками и челочкой. Перепулить его, однако, не спешу. Держу под мышкой. Пиджачишко, как живой и верный партнер, притыривает лопатник. «Спасибо, – говорю, – тебе!» – а урок толковище продолжается. Поливает все больше с усиками и челочкой. Поливает небезынтересно.

– Мне бы, – говорит, – такого зама по мокрым делам, как Сталин, и я за него, сухой мне быть, десять Гитлеров отдам. Помните, урки, далеко пойдет этот человек. Но ваш

фюрер и ему приделает заячьи уши. Он сам своих генералов перешпокает и переведет, а партайгеноссен перемикстурит в лагерях и гестапо. У него гестапо Лубянкой называется. Наш человек переслал оттуда чертежи советских концлагерей. Большевикам нельзя отказать в некоторой гениальности, но дело уничтожения ублюдков мы поставим на немецкую ногу... Нам, вождям, господа, жизнь дается всего один раз, и прожить ее бедно, но честно мучительно трудно!.. – Это было последнее, что я услышал, линия. Слиял. Костюм и пальто вели себя при этом просто прекрасно. Понимание ситуации и преданность – восхитительные и братские. Перепулил я лопатник с фанерой, три косых долларов и фунтов в женском сортире в бачок. Прочитал на стене стишки Уолтера Маяковского «Партия – рука миллионопалая, сжатая в один громающий кулак. Вчера, товарищи, здесь поссал я, и извините, пожалуйста, если что не так». Перепулил я лопатничек фюрера и возвратился. А на меня с ходу бросается жирная свинья Геринг и целует, как родственничка.

– Спасибо, кореш! В филармонии все так прелестно получилось! Благодаря твоей записке от меня насовсем ушла омерзительная любовница. У нее были большие придатки, клитор жесткий, как курок парабеллума, и характер – пакость. Спасибо! Мы, немцы, – нация любовников, а не Гегелей и Кантаровичей.

А в записке, которую я тогда послал свинье с тем, чтобы его дама ее прочитала, было написано, Коля, следующее:

«Друг! Неужели тебе нельзя верить? Ты же клялся, что нигде не покажешься с этой тухлятиной! Жду тебя в борделе. Там хо-ро-шо!»

– Спасибо, кореш! Вступай в нашу партию! – предлагает свинья, и просекаю я, что и у него, и у того, что с усиками, и у остальных рыла сплошь перелицованные. Просекаю изнанку вонючую в ихних речугах и манерах.

– Была бы, – говорю уклончиво Герингу, – партия, а члены найдутся у народа. Вступить никогда не поздно.

– Да здравствует партия! – хипежит с усиками и тоже руку мне жмет. Говорит, что я тогда героически ушел из зала, продемонстрировав отвращение немецкой души к модернистско-марксистской заразе в музыке, и если он, Гитлер, возьмет власть в свои руки, то меня сейчас же утвердят директором филармонии и начглавреперткома. Ибо, говорит, что-то мне в тебе нравится, но что именно, никак не сообщу. Лицо твоё – арийское. Ты, по-моему, астрологией занимаешься?

– Нет, – отвечаю, – я всего-навсего международный, гастролирующий из страны в страну урка, то есть гангстер. Упираться не желаю принципиально.

– Как так «упираться»? – не понял фюрер.

– Работать, – говорю, – не желаю, – и поясняю по его просьбе, что в гробу я лично видал строительство как капитализма, так и социализма, потому что все это, вместе взятое, есть ложный путь человечества и самоубийственный

технический прогресс с постепенной смертностью всего живого, воздуха, рек, морей и джунглей. Я к этому своих рук не приложу. Я, – говорю, – беру лишнее у того, кто заелся. И посему безобиден. Мечтаю стать фермером в Антарктиде, где партий пока никаких нет.

– Это – по-нашенски. Это – по-вагнеровски! Но ты, Фан Фаныч, ограниченный человек. Ты еще не припер к национал-социализму. Мы, фашисты, твою философию протеста одиночки сделаем философией всех немцев, философией Новой Германии. Мы отныкаем лишнее у еврейской плутократии, охомуаем большевистскую Россию и перетрясем фамильные сундуки выжившей из ума Европы. Мы, арийцы, погуляем по буфету, а быдло пускай поупирается. Ты в России-то бывал? – спрашивает фюрер и еще ставит мне кружку.

– Бывал, – говорю, – не раз.

– А фюрера ихнего видел, Сталина?

– Встречал, – говорю, – пару раз в Баку и в Тифлисе. Он банки курочил. Почтовые дилижансы брал с партнерами. Неплохой был урка, но ссучился. Генсеком стал. Ведет себя как падла в камере. Кровь из мужика пьет, дворян кокошит, батюшек изводит. Кровной пайкой не брезгует. Но это еще цветочки. Ягодки у вас обоих впереди.

Тут фюрер задумался о чем-то, потом говорит:

– Трудно мне будет. Трудно. Однако я привык поступать по-вагнеровски, по-нищевски, а не по-баховски. Я твоему

Сталину попорчу нервишки!

– Дай-ка я тебе по руке погадаю, – говорю фюреру, потому что почуял в нем что-то зловеще-зловонное. Дает он мне свою руку вверх ладонью. – Вот эта линия, – гадаю, – свидетельствует о том, что ты в детстве говно жрал. Но она же, эта линия, – линия величия и везения. Суждено тебе наломать больших дров в истории.

– Все правильно, – обрадовался фюрер, – но, гляди, насчет кала помалкивай. Я его никогда не ел. Я – художник, Фан Фаныч! Большой художник. Не ел.

– Ты просто не помнишь. Такое случается в самом раннем детстве, и это признак избранной фигуры и крупной личности. К тому же вон та линия говорит, что твой любимый цвет – коричневый. Кстати, – спрашиваю, – это не ты, случайно, пальцем нарисовал свастику в сортире рейхстага?

– Ты – большой маг, – сказал, побледнев, фюрер. – Я ее еще нарисую, и не дерьмом, а кровью! В Лувре, в Букингемском дворце, в Кремле и в Белом доме! Все сгнило! Все провоняло гуманизмом! Фэ! Я сожгу этот свиной хлеб мира!

– А может, – говорю, – лучше тебе поучиться рисовать? Сейчас в связи с инфляцией можно брать уроки за кусок хлеба у самого Ван Гога.

– Я призван не брать уроки, а давать их! – осадил меня Гитлер, и я, Коля, горько подумал тогда о том, сколько в этом веке свалилось на наши бедные головы вонючих, безумных, безжалостных учителей.

Сидим, пиво пьем. Костюм и пальто – не нарадуюсь. И высохли, и не колются, и не жмут брюки в паху, может, думаю, обойдется, приживутся, и поношу их до лучших времен? Где там! Сию же минуту Геринг по пьянке толкнул Гитлера, и тот смахнул на меня локтем яичницу с салом и кружку пива вылил.

– Ничего, – говорит, – скоро ты у нас форму наденешь. Она на тебе сидеть будет хорошо. Не то что это дерьмо!

– Нет, – отвечаю, – форма урке ни к чему. Я же не фашист.

Вдруг вижу: за окном по улице процессия канает. Впереди людей катафалк. Восемь лошадей, и все идут тихо, головы опустив, и о чем-то думают, думают и думают. На катафалке гроб. Провожающих – человек десять, и среди них, Коля, вижу я своих кирюх, Розу Люксембург и Кырлу Либкнехта. Плачут оба.

Я ору из окна:

– Люксембург! Либкнехт! Роза! Карл!

Гитлер говорит:

– Где они? Где они? К оружию, граждане! Кружки – в руки!

Если бы я не объяснил фашистам, что Роза и Карл не коммунисты, а просто у них кликухи и они мои кирюхи, то им бы тогда попало. Кликухи же Курт и Магда получили за то, что молотили виллы и квартиры хозяев фабрик и заводов. Экспроприировали таким честным образом прибавочную стоимость.

Тут Гитлер челкастый с усиками хватился наконец своего партийного лопатника, залез на стол и кинул речугу:

– Нация, крадущая бумажник у своего фюрера, далеко пойдет! Я заставлю худшую часть Германии харкать кровью! Надоело! Пора, урки, рейхстаг поджигать! Пущай попылает синим пламечком колыбель еврейско-болгарских ублюдков! Все на баррикады!

Я говорю: «Без меня, господа, без меня!» – и линяю. Догоняю катафалк, лечу как на крыльях, откуда только силы взялись, и чувствую всей кожей: дрожат на мне костюм и пальто сладкой дрожью последней агонии. «Кого, – говорю, – Роза, хороните?» Представь себе, Коля, хоронили они портного Соломона. Он не мог примириться с массой заказов на переделку одежды и повесился.

Снял я с себя на ходу пальто, потом пиджак с брюками и в одних трусиках остался. Положил все вещи в гроб рядом с тем телом, которое их перелицевало, и на сердце у меня – печаль покоя. Я выполнил свой долг перед обиженными и униженными вещами.

И не надо, Коля, никогда ничего перелицовывать. Пускай живут и помирают в свой законный час или же от нормально-несчастья леса, пиджаки, государства, полуботинки, литература, пальто, горы, кошки, мышки, галстуки и люди. А вообще человечеству невдомек, что не тяпни я тогда из гитлеровского плаща лопатник с фанерой, и, возможно, не стал бы фюрер поджигать рейхстаг. Не надо, Коля, ничего перелицо-

вывать. И я не желаю идти с Кырлой Мырлой на Страшном суде по одному делу за переделку мира. Не хочу – и все! Мир, ей-богу, не прощает человеку перелицовки. Он нам уже и в паху, вроде брюк, жмет и грудь давит, дышать нечем. И мы приписываем ему свои собственные грехи страстно и отвратительно... насчет же фюрера, Коля, я не выламываюсь. У меня это одна-единственная ужасная вина. Ты бы видел, какими шнифтами он кнокнул, когда хватился лопатника, на партнеров по банде и сказал: «Хватит! Чаша терпения переполнена! Это – последняя капля!» – понял бы, что именно на моей совести кровь и загубленные жизни миллионов людей. Я уж не говорю об искромсанной поверхности Земли. Тут кое-кто утверждает, что во всем виноват Гитлер и еще больше Сталин. Какая же это все херня! Фан Фаныч во всем виноват. Один Фан Фаныч. И одному ему идти по делу. Не по сочиненному Кидаллой с ЭВМ, а по своему особо важному делу. Господи, прости!.. Ничего не могу сказать в свое оправдание!..

Вот ты спрашиваешь, Коля, почему Фан Фаныча на фронт не взяли. Мог бы, конечно, и сам допереть, что к чему, но я уж поясню, потому что со всеми этими делами связан важный момент моей жизни. А если копнуть поглубже, осмелиться если копнуть, то и в жизни теперешнего мира. Глубже мы с тобой копать не будем.

Так вот, проходит с 22 июня ровно в четыре часа десять дней. Я, разумеется, жду, когда дернут, прикидываю, по какой пойду статье и что за сюжетец будет у моего дела. На месте Кидаллы я бы уже на второй день войны ухайдакал меня по делу о попытке отравления обедов и ужинов – завтракают, Коля, руководители дома – в сверхзакрытой столовой ЦК нашей партии. Массированный ударчик цианистым калием по желудкам партийной верхушки, и народ в критический момент своей истории лишается с ходу Ума, Чести и Совести. Беда. Спасение уже невозможно, а Гитлеру открыта зеленая улица в Индию. Кидалла доложил бы об этом деле Берии. Тот самому, а сам усмехнулся бы в рыжий ус и сказал бы:

– В тылу мы навели порядок. Пора прекратить бардак на фронтах. Снимите Буденного. У нас не Гражданская война, а Отечественная. Так и будем называть ее впредь.

Итак я желаю пролить за Родину и народ несчастный советский свою кровь. Встал однажды. Не умывшись даже и не

позавтракав, канаю в военкомат. К нему очередь, как в Мавзолей. Мужики и немного баб. Ну, думаю, и тут очередища! Подохнуть и то не подохнешь, кровушку пролить и то не прольешь, если не спросишь: «Кто последний?»»

— Здравствуйте! — говорю устало и солидно. — Братья и сестры! — Хляю, как ты понимаешь, за большого начальника в штатском. — Добровольцы?

— Так точно! — за всех отвечает седуусый, весь в Георгиях, кавалер лет семидесяти пяти. — Здесь недопустима волокита. Фронту нужны солдаты. У меня за плечами и Первая мировая, позвольте заметить.

У самого руки и ноги дрожат. Не воин. Старикашка.

— Домой, — говорю, — батенька, домой. Вы необходимы тылу. Решается вопрос о вашем назначении начукрепрайона Солянки. Домой. О фронте не может быть и речи. Теперь у нас фронт нового типа. Самый широкий из всех существовавших когда-либо в истории фронтов. Ясно?

— Так точно! Разрешите идти?

Ушел старикашка, а я прохожу прямо в комнату. Смотрю на военкома. Три шпалы. Мясник. Взяточник. Опух от пьяни. Представляюсь. Он же, он же, он же, он же Легашкин-Промокашкин. Почему повестки не шлете, подлюки? Сами на фронт захотели? Я вам, говорю, прохиндеи, быстро это дело сварганю. Кровь желаю пролить. Давай сейчас же, змей, пулемет в руки!

Три шпалы покнокал в какую-то ксиву. Набрал номер.

– Здравия желаю, товарищ майор! Говорит Паськов. У меня в кабинете... один из ваших... Легашкин-Промокашкин... Просится на передовую. Хорошо. Передаю. Есть согласовать! Есть! Есть! – Передает рожка мне трубку.

– Привет, – говорю, – товарищ Кидалла. С повышенищем вас, с майором вас, холодное сердце – горячие яйца!

– Здравствуй, мерзавец. Фронта тебе не видать как своих ушей. Ты числишься за органами. Жди и не вертухайся. На счет крови не беспокойся. Мы ее еще тебе не столько прольем, сколько попортим. Ждать! Ты меня понял? Продолжать ждать!

– А если я, – говорю, – Сталину напишу жалобу?

– Пиши. Я же лично тебе на нее и отвечу: жди, педерасти-на. Если б не органы, ты бы уж давно истлел на Колыме.

– А вдруг, – настырно спрашиваю Кидаллу, – я жду себе, жду, а фюрер въезжает в Москву на черном «мерседесе», пересаживается на Красной площади на белого ворошиловского жеребчика, вскакивает на Мавзолей и говорит: «Я вам покажу, сволочи, как лазить по карманам вождей!» Что, – говорю, – тогда? Я-то дождусь, а ты где будешь? В Швейцарии? Или в Аргентине? Победа-то, – говорю, – еще в черепашьем яйце, а яйцо в черепахе, а черепаха в Московском зоопарке была, да из нее суп сварили Кагановичу. Как быть, если ваш вонючий Каганович суп черепаховый любит! А?

У трех шпал от моих слов хавало перекосилось, а Кидалла помолчал и отвечает:

– Наше дело правое. Дождешься не фюрера, а своего часа.

– Ну а вдруг, – продолжаю настырничать, – вдруг фюрер через месяц в Большом Георгиевском сабантуй шарахнет и Джамбул ему лично будет бацать на арфе, а Ойстрах на гармонике?

В кабинет, Коля, офицерья набилось. Один вытащил револьвер и взглядом спрашивает у военкома приказа шмальнуть меня на месте. Военком как шикнет на него, а Кидалла говорит:

– Вот придет срок, возьму я тебя, и ты проклянешь миг сомнения в нашей победе над фашизмом. Иди запасай бациллу. Скоро жрать будет нечего.

– Ну смотри, – толкую напоследок Кидалле, – если нас победят, я тебя ждать не заставлю. Сразу ноги из жопы выдерну и палочки Коха вставлю. Сачок! Тыловая крыса с синим кантом! Чтобы бомба попала в твою Лубянку трехтонная!

– До встречи, гражданин Тэдэ.

Не стал Кидалла огрызаться, положил трубку. Я со зла как гаркну на офицерье: «Смир-р-р-р-на-а!» – так они все руки по швам – и мертвая тишина в кабинете.

Выхожу. Очередь кнокает на меня, как на Молотова. Окружили. Даю команду:

– Женщины, дети, короче говоря, все добровольцы, кру-у-у-гом! – Повернулась очередь бестолково. – По домам, до повестки с вещами, шаго-о-м... марш!

И я, Коля, правильно тогда поступил. Солдат на фронте

хватало, их даже армиями целыми в плен брали, а добровольцев этих: работяг, профессоров, царских вояк, полуслепых, склеротиков, подагриков, палец не гнется курок нажать, и девочек бедных — кидали в атаки, как мясо волкам, чтоб только самим отбиться от наседавшей стаи. Спас я несколько жизней от напрасной смерти — и слава богу.

Ладно, хватит об этом. Война. Беда. Замастырил мне Вася-гознак ксив целую кучу: паспорта, командировочные, аттестаты, справки о ранении, генеральские всякие дела, и езжу я по всей нашей действительно необъятной родине из конца в конец. Наблюдаю, как одни страдают от похоронок и пухнут с голоду, да к тому же ищачат и в поле, и в цехах, и в лагерях по двадцать часов в сутки, а другие хапают, хавают где только можно отдельную колбасочку, купюры, валюту, рыжье и бриллианты. Монолитное единство советского народа наблюдаю. Беда, Коля, с этим делом, беда. Завал, более того, с этим делом. Отвлекаясь от военного времени, скажу тебе так: никакого советского народа нету в природе. Как есть отдельная колбаса, так есть отдельные люди. Кстати, колбасы отдельной теперь тоже днем с огнем в провинции не сыщешь, если и выкинут ее в Тамбове, Торжке и Туле, то очередь за ней с утреннего гимна, и все стоят, книги читают про процветание советского общества... Прости, отвлекся. Сердце же, как чайник старый и любимый, накапливает в нем все и накапливает... Наконец сорок пятый год. Победа, можно сказать, у Сталина на ладошке, и гуляет он по буфе-

ту как знает, а фюрер, соответственно, не знает и не гуляет. В Москве – тоска. Водяру по карточкам выдают. На Тишинском и Дубининском рыночках в веревочку режутся и в три листика.

Тоска. Делаю еще один заход к Кидалле. Звоню, говорю, что могу в любой миг стать первоклассным разведчиком, добраться до самого фюрера, ибо лично с ним знаком, и потрекать насчет стратегических планов. Мы же, говорю, сотню тыщ солдатиков спасем. Посылочки-то они с тряпками шлют, а их в атаках шмаляют и шмаляют. Не жалко? А вслед за посылкой похоронка кандехает!

– Что, вражья харя, поверил наконец в нашу победу? А ведь ты, мразь, хотел, чтобы твой знакомый проходимец сокрушил нашего Иосифа Виссарионовича. Хотел, чтобы он в Мавзолей на белой кобыле въехал?

– Я бы хотел, – отвечаю искренне, – обоих фюреров видеть в одном хрустальном гробу, а тот гроб чтоб бросили в зловонную речку Язу, и пушай он качается на волнах дерьма, нечистот и мочи. И тогда все флаги будут в гости к нам.

– Говорун... Трекала. Я в тебе не ошибся. Жди, милый, жди. Еще раз сам позвонишь, и я тебе очко аджикой намажу. Наглец!

Поверь, Коля, я бы и сам, конечно, мог спокойно перейти линию фронта, сблочить с какого-нибудь крокодила шкуру с аксельбантами, позвонить в ставку фюрера, напомнить о себе и запудрить всему вермахту мозги такой чернотой

и темнотой, что им и не снилось. Мог. Однако почему-то не перешел фронт, а поехал в Крым. Еду в штатском, но в моем элегантном угле лежит инженер-генерал-лейтенант войск МГБ от фуражки до шевровых штиблет. Ксива моя была в большом порядке. Представитель Ставки. Уполномочен осуществлять наблюдение за установлением новых границ в освобожденной Европе с полномочиями выше крыши. Коменданты вокзалов и шмонщики из Чека потели, Коля, читая мою ксиву.

По дороге заезжаю на Брянщину. Все-таки усадьба тети Лизы...

Лежит в грязном снегу белая мраморная колонна, и на ней красным намалевано: «Весь урожай – фронту!» Канаю в деревеньку. Ужас. Бабы и ребятя синие, чуть ли не черные, опухли от полного подсоса. Голодуха. Избенки косые, в окнах выбитых бельма тряпья. На ветках – слезы. Мужика ни одного, стариков даже нету, но перед каждой избенкой, Коля, всего их было штук девять, стоят на свеженьких постаментах бронзовые бюсты дважды Героев Советского Союза. Бронза на солнце весеннем горит. Зайчики сигают от бюстов летчиков. Кто погиб, кто еще летал. Как шуганули немцев, так прибыла в деревеньку спецкоманда по приказу Калинина, наставила бронзовых Иванов, Федей, Сереж и Николаев работы наших вонючих Фидиев и Микеланджелов. Взяли с родных баб расписочки, что в случае порчи бюстов попадут бабы под суд на родине награжденных, и слиняла команда в

столицу. Ужас, Коля, ужас. Черные избенки, бронза на солнце горит, на одном бюсте бабенка повисла и воет, воет, а ребяташки оттаскивают ее за юбочку, оттащить не могут и тоже голоса. Как тебе эта картиночка? Роздал бабам триста тысяч рублей. Самую бойкую повез в Брянск и там в обкоме клизму второму секретарю воткнул, сытому и с похмелья мурлу и придурку. Ору:

– Партбилет на стол, мерзавец! Деревня и крестьянство – залог нашего послевоенного ренессанса! Почему вы не кормите крестьян? Доложите немедленно Микояну о начинающемся, вернее, продолжающемся голоде. Четвертую главу, сволочи, позабыли? Позабыли закон отрицания отрицания? Забыли, что если зерно не упадет в землю и не умрет, то вообще ни хрена не вырастет! Смир-рна-а! Вместо того чтобы устанавливать новые границы, я волюндаюсь здесь не по своему делу! Завезти семена в колхоз! Обеспечить белками население! На обратном пути отдам под трибунал весь обком. Дыхни на меня! Пьян! Всех схавая, а кости выложу в политбюро. Народ должен быть сыт. Вам это теперь ясно?

– Ясно. Накормим в течение недели. Пожалуйста, прошу вас ко мне домой на обед. Перед дорогой.

Не стал я у него хавать. Поканал дальше. В Крым поканал. В Крыму, конечно, солнце. Тишина. Кипарисы как стояли, так и стоят. По всей Ялте татары хипежат, уводят мужиков, и баб, и ребяташек. Уводят под конвоем. А сам понимаешь, уходить неизвестно куда и насколько не только татарину, но

и папуасу какому-нибудь не очень-то охота. Я уж не говорю об остальных советских людях разных народов и наций.

Кстати, в интимный момент раскололась одна дама из ЦСУ, что нема в Российской империи нации, представители которой не волокли бы срок по пятьдесят восьмой со всеми ее замечательными пунктами. Нема. Но и тут, сказала дама, у советской власти вышла осечка. Эскимоса ни одного не посадили по пятьдесят восьмой. За кражу тюленьего жира, утайку оленьих шкур, приписку моржей, за невыполнение плана убийства песцов и опоздание в тундру – это всегда пожалуйста, а вот за пропаганду и агитацию, саботаж, диверсии, за террор и покушение на вождей, а также за сотрудничество с гренландской разведкой не горели эскимосы – и все. За измену родине не горели они тоже, ибо родина ихняя – Северный полюс, а как можно изменить Северному полюсу с Южным, например, по-моему, не под силу сообразить самому Вышинскому Андрею Януарьевичу, чтоб ему до конца света в пекле ада переписывать своей кровью уголовный и процессуальный кодексы РСФСР.

А может, эскимосы органически, так сказать, не секли, что такое советская власть? Или считали ее чем-то вроде шторма на суше, ложного северного сияния, бесконечной пурги или многолетнего солнечного затмения, то есть тем, с чем воевать и на что бухтеть бесполезно? Не знаю, Коля.

Итак, тепло. Весна. Набухли соски бутонов на миндале, и на Иудиных корявых корягах появились лиловые пупы-

рышки. Кипарисы подогреваются на солнце, развезет их – они пахнут жарко и пьяняще, вроде голой бабы, принявшей хвойную ванну...

И вот, Коля, в тот момент, когда, может, тыщи солдатиков в Пруссии заедали свою смерть грязным снегом с кровью и хватали последние глотки воздуха жизни, а мне в пролитии крови было отказано, Фан Фаныч зашел в пустой Ливадийский дворец. Хожу по гостиным, по залам, по спальням и пою свою любимую частушечку:

Плывет по морю трамвай.
Играют граммофончики.
Зря отрекся Николай
В зелененьком вагончике.

Спустился я куда-то по потайной лесенке и попадаю в потайную каморку. Вот здесь, наверное, думаю, Распутин перехарил всех фрейлин. И вдруг за окном раздается гунявый солдафонский голосина:

– Симвалиева посадите на кедр! Зыкова – в рододендрон, остальным рассеяться по парку. Соблюдать маскировку. При встрече с самим умри! Р-разойдись! И чтоб муха не влетела и не вылетела!

Ну, думаю, попал. Разглядываю каморку. Обита лиловым, в белых хризантемах шелком. Софа, столики, стулики, пуфики, карельская береза и малюсенький такой клозетик в стене за бамбуковой шторой. Под потолком два окошечка

за узорными решками, а за решками – сплетение лоз виноградных. Следовательно, я в подвальчике. Слышимость прекрасная. Надо мной ходит та же самая солдафонина и отдает указания:

– Клопов, тараканчиков и ночных бабочек – к стенке. Проверить все резиденции на тарантуловость и скорпионовость! Полуверко! Пароль!

– Стой! Кто идет? Материя первична?

– Ответ?

– Всегда, товарищи Кутузов, Суворов и Нахимов! Смерть Гегелю!

– Разойдись! Продуть систему каминных труб газом Зелинского-Несмеянова!

Что бы это означало, лежу на софе и думаю. Но делать нечего. Жду. И понимаю, что ради пира и бардака для Кагановича или Берии такого в Ливадии шума поднимать не стали бы. Не стали бы, думаю. А может, сам это Сулико с усами? И решил он погреть руки, затекшие, держамши баранку государства и партии? С каждым днем убеждаюсь все больше и больше, что это так.

Снуют машины. Семгой запахло, фазаны, гуси, утки, поросята живьем прямо во дворец завозятся. Осетринища вырвалась из рук у шестерок и хвостом в мою стену – бух, бух, бух. В общем, идет подготовка к невиданной гужовке.

Жду сутки. Жду вторые. Жрать охота. Вдруг однажды затрекали во дворе по-английски. Я секу, что трекают наши,

янки и англичане. Трекают, как дипломаты, о погоде, о лаврах, вечном тепле и что всем объединенным нациям хватит места под солнцем, если, конечно, капитализм поймет, как удивительно исторически он обречен сдать дела своему могильщику, пролетариату. Дохирикаетесь, думаю, классические дипломаты, дохирикаетесь. Приделают вам заячьи уши, к пятанкам ромашки прилепят и схавают Первого мая в Большом Георгиевском дворце на первом всемирном пролетарском банкете...

И вот, Коля, наконец наступила в царском дворце и в парке мертвая тишина. Слышно только, как Симвалиев на кедре и Зыков в рододендроне нервно дышат. Тишина. Шины по красному толченому кирпичику тяжело и мягко прошелестели, хрустнули под ними самые мелкие крошечки. И от колпака на колесе зайчик прямо мне в шнифты ударил. Щурюсь, но кнокаю в очко сквозь сплетение лоз виноградных.

Дверь «линкольна» отворяется, четыре шевровых сапога по обеим сторонам ее. Просовывается в дверь сначала одна нога в штиблете, на брючине лампас, потом другая, левая, которая показалась мне по выражению своей черной хари значительнее правой. Встали обе ноги перед моим окошечком, причем правая явно немного стесняется левой и старается быть незаметной. В сторонке старается держаться. Левая сделала каким-то образом на три-четыре шага больше правой, и тут, Коля, наконец-то родной и любимый голос раздался:

– Тихо... Тепло... Вольно...

Лица и усов лучшего своего друга не вижу. Так близко он стоит. Закурил. Грапка сохлая, маленькая, рябоватая, ни ласки в ней, ни прощения. Трубочка только дымится во все-сильной цепкой грапке.

– Вячеслав, – говорит Сталин, – подойдите поближе.

Подошли тоже две ноги. Некрасивые ноги. Желтые полуботинки. По заказу сшиты, потому что костяшки фаланг больших молотовских пальцев выперли вбок, и на кожаные пузыри это было похоже. Подошел Молотов и трет пузырь о пузырь: костяшки-то ведь ужасно как чешутся. Трет, надо сказать, незаметно, а может, и не замечает, как трет.

Подходит Молотов к Сталину.

– Скажи, Вячеслав, какие тут растения вечнозеленые, а какие зеленые временно?

– Во-первых, вечнозеленый – это лавр благородный, – отвечает Молотов.

– Дипломат ты у меня. Дипломат, – говорит Сталин. – Знаешь ведь, что твои слова дойдут до Лаврентия. А вот ответ, кто тут временно зеленый?

– Например, акация, Иосиф Виссарионович.

– Хм... акация... акация... Помню, в Женеве я прочитал из «Национального вопроса» Дану. Дан тогда сказал: «А Кац и я считаем твою работенку белибердой». Они действительно оказались временно зелеными, вернее, временно красными... «А Кац и я», видите ли! Почему бы, спрашивается, не

посадить вместо акаций больше лавров!

– Это нужно согласовать с Никитским садом, Иосиф Виссарионович.

– Хорошо. Согласуйте с Хрущевым. А Кацей после победы начнет сажать наш Лаврик. Я закончу дело, начатое Гитлером – предателем нашего дела.

– Ха-ха-ха! – говорит Молотов.

– Послушай, кто это там стучит? – вдруг спрашивает Сталин. – Не слышишь? Узнать!

Я-то понял, что стучал сапожник. Штук восемь ног военных и штатских протопали мимо моей решки. Пока они ходили куда-то, я кнокал, как черные сталинские штиблеты похрустывали красной кирпичной крошкой, казавшейся ему, очевидно, кристалликами крови. Ходит. Молчит. Плетеную качалку подставил ему Молотов. Сел. Правая нога с ходу согнулась, подставилась, а левая барыня улеглась на нее, свесилась и озирается мыском штиблета по сторонам. Молотов же стоит. Ну, думаю, наконец-то, Фан Фаныч, закинула судьба короля бубей в чужую колоду. Повяжут тебя тут непременно, и ни один Кидалла не вырвет твою душу из рябеньких грапок туза виной, схавают тебя, Фан Фаныч, его винновые шестерки. Дурак ты, миляга. Хрустнешь, как кирпичная крошечка, и не услышит этого звука – пушки ведь в мире бухают, бомбы рвутся, пули вжикают, – не услышит этого звука никто. Судить тебя, разумеется, не станут. Нет такой статьи даже в кодексе о подслушивании телефонных разговоров членов

политбюро. Высшая тебе мера социальной защиты вождей от народа – и кранты!

Смотрю: шагают. Шагают восемь военных и штатских ног, запылились слегка, ссадины на шевре, а пара ног плетется между ними босых. Тощие, черные от солнца голые ноги, только коленки прикрыты кожаным фартуком.

Хорошо ступают ноги. Достоинно. Не спеша. Красивые ноги, лет по семьдесят каждой. Остановились около сталинских штиблет и молотовских туфель с пузырями от выперших костяшек на фалангах больших пальцев. Тьфу, Коля.

– Доброго здоровья, – говорит старик по-русски, но, как я понял, он татарин.

– Знаешь, кто перед тобой сидит? – говорит Молотов.

– Военный... вроде бы. А чин очень большой, – с акцентом, конечно, ответил татарин.

И ты веришь, Коля, совершенно для меня неожиданно Сталин весело и жутковато залыбился, захохотал, обрадовался, так сказать, как убийца, которого наконец не опознали. Молотов, воспользовавшись моментом, поднял сначала одну ногу и почесал кожаный пузырь, потом другую.

Похихикал Сталин, посвистели в нем копченые бронхи, и по новой спрашивает:

– Значит, лицо мое тебе абсолютно и относительно не знакомо?

– Не виделись мы, хозяин, значит, не знакомо.

– Газеты, старик, читаешь?

– Совсем не читаю, хозяин.

– Вот как. Не чи-та-ешь. Счастливый человек. До нашей эры живешь... Никогда не читал?

– Не читал, хозяин.

– Радио слушаешь?

– Нету у меня радио. Слушаю, что скажет Аллах... Что скажет он, то и слушаю.

– Ты, старик, где и кем работаешь?

– Сапожник я, хозяин. Старье починим, новое пошьем, совсем недорого берем.

Сталин быстро снял левую ногу с правой – и тишина, Коля, тишина. Минут десять Сталин молчит, а молотовские колёнки подрагивают, падлы... Тишина... Ага, думаю, наверное, папаню вспомнил, разбойник? Вспомнил, небось, как папенька с десятков граненых гвоздиков клал под усы на родимую губу. Вспомнил, Ленин сегодня, молоточек отцовский и пальцы рук отцовских, черный вар от дратвы навек в них въелся? Вспомнил, четвертая глава большевистского дракона, как легко, как на глаз взрезал косой нож кусину прекрасной кожи и как чистая подошва первый и последний раз глядела в небо, пока батя вгонял в нее деревянные шпилечки да зачищал чешуйками рашпиля, да каблук присобачивал, вспомнил, волк? Волк ты, думаю, самый к тому же дурной, потому что нормальный волк зарежет овцу, нахавается от пуза и гуляет по брянскому лесу до следующего подсоса под ложечкой.

Дурной же клацает пастью, режет овец, которых схавать не успеть, и не участь вроде бы помереть им сегодня, режет без разбору, грызет глотки, напустил кровищи... Тишина... Выбил трубку о каблук правого штиблета... «Герцеговина Флор» на землю упала. Молотов нагнулся, поднял зеленую коробочку. Рыло его вверх ногами увидел я на секунду. Тьфу.

– Семья у тебя есть? – говорит Сталин.

– Есть, хозяин. Жена есть. Сын есть.

– Сын, говоришь?

– Да... сын.

Опять тишина... тишина... тишина... Чего уж там Сталин вспоминал, хрен его знает. Скорей всего, себя вспомнил мальчишкой.

– Что сын делает? – спросил зло и глуховато.

– Мулла – мой сын. Мулла. В мечети работает.

– Немцам служит! – быстро вмешался Молотов. – Активный работник. Квислинг.

– Аллаху мой сын служит и нам, татарам. У немцев другой бог – Гитлер. Ему мой сын не служил.

Тут, Коля, Сталин топнул левой ногой, и понял я, что закипело наконец в вожде дерьмо в том месте, где у нормального человека душа должна быть. Закипело и выбежало через край. Но говорит не спеша, как на восемнадцатом съезде партии:

– Позволительно спросить у нашей контрразведки: поче-

му до сих пор Крым, эта бывшая цитадель белой сволочи, не очищен от предателей всех мастей и их так называемых мулл?

Строевым шагом подошли к нему запыленные сапоги из шевровой своры и щелкнули каблуками.

Вот тут-то правая сталинская нога, ты, Коля, хочешь верь, хочешь не верь, сказала тихо, но с немалым злорадством и полнейшей убежденностью:

– Ты, Сталин, говно!

– Что? Что? – переспросил Сталин.

– Говно, жопа и дурак, – быстро повторила правая нога, а левая придавила ее, но заставить замолчать не могла. – Дурак, жопа и говно!

Сталин цокнул языком и застонал: «У-у-у!»

Молотов спрашивает:

– Может быть, отдохнете с дороги?

– Пошел к чертовой матери, – так же тихо и логично, как с трибуны съезда, отвечает ему Сталин и, конечно же, на нем срывает зло. – Почему у тебя такая плоская харя? Камбала в пенсне? Премьер мудацкий!.. Министр иностранных дел! Иден у Черчилля – вот это министр! Красавец! Что ты растопырил ноги! Поставлю на политбюро вопрос, и ампутуем их тебе! Не вздумай на конференции чесать свои костяшки! Агент царской охраны! Педераст!

– Все будет хорошо, – дипломатично говорит Молотов, а правая сталинская нога, как только он замолчал, опять за-

долдонила:

– Ты же дурак! Жопа всех времен! Говно всех народов!

Сталин, наверное, для того чтобы ее сбить с толку, быстро-быстро прошелся взад-вперед, он почти бегал, а правая нога точно в такт подначивала:

– Сталин – жопа, и дурак, и несчастное говно! И дурак, и дурак, скоро сдохнешь и умрешь!

Встал как вкопанный. Слышу: сипло дышит и лжет своей своре:

– Что-то пламенный мотор барахлит, товарищи.

Тут четыре сапога на цирлах подомчались, оторвали от земли и отволокли во дворец. А он, сидя на руках шестерок, отдал приказ:

– Обрушьте на Берлин фугасы из стратегического запаса!

– Легче тебе от этого не станет, – грустно заметила нога.

Воистину, Коля, Бог шельму метит, и я просек чудовищность и невыносимость тоски и злобы Иосифа Виссарионовича Сталина. В руках у Асмодея власть чуть ли не над полпланетой, а может он при желании хавать каждый божий день харчо, где вместо рисинок алмазы плавают, а отдать может приказ облить бензином бараки ста лагерей, чтоб запылала синим пламечком враги народа.

Представляешь? Всесилен этот заместитель самого человеческого из всех прошедших по земле людей, горный орел номер два, и тут вдруг какая-то вонючая, сохнувшая правая нога, главное, не чья-нибудь, а своя, сволочь такая и преда-

тельница, говорит:

– Сталин – говно! Скоро сдохнешь и умрешь!

«И самое страшное в том, что ей не заткнешь глотку, не заставишь замолчать, ибо заставить помалкивать можно совесть, и так поступают миллионы людей, но нога-то ведь не совесть, и как ее, подлюку, уломать? Издать указ Президиума Верховного Совета? Ну хорошо, я уверен, думал он, ампутирuem, протез поставим, а что дальше? Есть ли надежда на левую ногу? Нет! Так как вокруг – враги и предатели. Следовательно, придется ликвидировать также левую ногу и, вроде Рузвельта, кататься в колясочке. Толкать же ее будут по очереди члены политбюро, министры, генералы, стахановцы, Иван Козловский, Юрий Левитан, кинорежиссеры, Илья Эренбург и артист Алейников – большая жизнь. Главное в выдающемся государственном деятеле не ноги, а голова. А если вдруг голова предаст основные постулаты исторического материализма, если заявит моя голова, что, дескать, материя не первична, а главное – свобода духа? Интересная ситуация. Прямо Курская дуга. Ну с головой-то я умею справляться. Она будет помалкивать примерно как мои половые органы. Вот как быть, если правая рука полезет во время отчетного доклада на очередном съезде нашей партии в боковой карман, вытащит, ликвидаторша и уклонистка, мой партбилет и бросит его с трибуны на пол Большого Георгиевского зала? Бросит и вместе с левой начнет мне бурно аплодировать? Как быть? Что делать, дорогой Влади-

мир Ильич, ответьте, пожалуйста, если заговорят мои внутренние органы? Если обнаглеет даже жопа и со всей большевистской прямоотой своей кишки скажет, что Сталин испортил ей жизнь и что лучше уж быть слепой кишкой, чем смотреть, бессмысленно заседая и заседая, на разрушение сущности личного, единственного бытия Сталина. Что делать? Пустить пулю в угрюмый и глубоко враждебный мне лоб или в ненавидящее меня собственное сердце?» – тоскливо подумал в ту минуту Сталин, но с ходу взял себя в руки и решил, Коля, так: ваши попытки, господин мозг, господа жопа, сердце и печенки-селезенки, обречены на провал! Мы обрушим на вас всю мощь нашей отечественной, а возможно, и зарубежной медицины!

И веришь, Коля, обмозговываю я все это, а из окошка сверху Молотов захипежил:

– Срочно вызвать профессоров Вовси, Егорова, Вышинского, Бурденко, Маршака и артиста Алейникова – большая жизнь! Срочно!

– Есть! – кто-то ответил, и тихо стало, как в морге. Только Симвалиев, сидевший на кедровом суку, спросил у разводящего:

– Как оправиться по большой нужде, товарищ генерал-майор? Невмоготу, честное комсомольское.

– Давай – в штаны. Потом разберемся, – решил тот, подумав.

Вот, Коля, каково приходилось злодею! Он свое получал,

я имею в виду не Симвалиева, сидевшего на суку, а Сталина. Но, однако, и Фан Фаныч попал тогда в приличную кучу. Выйти некуда, жрать нечего, не мечтал я о таком кандее, не мечтал. Закемарил, чтобы сэкономить силы и не суетиться в поисках выхода из полнейшей безнадеги.

Просыпаюсь. Подхожу к решке. Светло. Крымский ветерок посылает мне с клумб передачи: чудесные запахи. Спасибо, дорогой, век не забуду твоей милости. Перед решкой моей стоит Молотов босиком и в кальсонах солдатских с желтой тесемочкой.

«Додж» подлетел. Я его по баллонам узнал. И из кузова кирза выгружает странных личностей. Один в шлепанцах, другой в бабьих фетровых ботинках, третий в разных, причем незашнурованных ботинках и так далее. Представляешь, как их захомутали посреди ночи?

– Доброе утро, товарищи убийцы в белых халатах, – говорит Молотов-босяк. Выгруженные из «доджа» личности действительно частично были без брюк, но все в халатах.

– Мы всегда ценили ваш тонкий юмор, – отвечает тот, который в ботинках. – Почему вы босиком?

– Как вы себя чувствуете? – заботливо спрашивает в разных ботинках. – Почему? Что случилось?

– Вас вызвали для наблюдения над самочувствием Иосифа Виссарионовича и консультаций. Кроме того...

– Позвольте выразить негодование? – перебил его в шлепанцах. – Я сказал, что если меня берут, пардон, вызывают

к Сталину, то я должен же чем-то измерять его давление, черт побери! Мне тут вот тот военный, явно выраженный даун, твердо возразил, что Сталин и давление на него несовместимы. Он, так сказать, сам кого хошь придавит, как вошь. И теперь я без прибора как без рук. Нонсенс!

– Давление у маршала нормальное. Почему вы считаете, что полковник Горегляд на самом деле Даун? – спрашивает Молотов с большим интересом, и к шлепанцам моментально подканалы две пары генеральских штиблет и брюки с голубыми лампасами.

– Я никогда не ошибался. Взгляните сами: совершеннейший даун!

Штиблеты и босые молотовские концы уставились влево. Я тоже кнокаю и понимаю, что еще три минуты назад вон те шевровые сапожки, тридцать девятый размер, обречены. Три минуты назад мягко лоснились на солнце от счастья власти и принадлежности к свите складки на голенищах сапожек, и такой скульптурной лепки были эти складки, как будто полковника каждое утро обували или Томский, или Вучетич с Манизером на пару. А какой рантик! Это, Коля, не сапожник зубчатым колесиком накатил рантик, а это какая-нибудь балерина острыми зубками прошла по краешку новенькой подметки! И вот на глазах моих вмиг сникли сапожки, потускнели мыски, и шевровые ладные складочки стали жалкими морщинами страха, тщеты и бессилия.

Чекистам больше, чем нам, известны были игры в шпио-

нов, которые они же сами и выдумывали, и, когда штиблеты направились неумолимым шагом к сапожкам, конечно же, тем стало ясно, что через полчаса, максимум через час придется расколотся и в том, что они и Даун, и многолетняя служба в Интеллидженс сервис, и попытка ликвидации Сталина и Молотова с целью назначения Черчилля председателем Совмина СССР по совместительству. За такой сюжет, Коля, сам Ромен Роллан поставил бы бутылку Алексею Толстому!..

...Крым. Солнышко светит. Решающий момент войны. Народы Европы изголодались по свободе. Вся советская верхушка в Ливадийском дворце vareжки раскрыла, встречая союзничков, и тут-то они с помощью аса разведки Дауна надевают чалму на Сталина, пыльный мешок на Молотова, вяжут остальных разбойников прямо за круглым столом конференции – и все! Чехты маршалу Сталину. Сажает его с членами политбюро в «дуглас», и тает самолетик в тумане голубом... Тихий океан. Авария на борту... Внизу, дорогой Коля, акулы... Так вражеская разведка пыталась закрыть последнюю страницу истории нашей партии. Но не тут-то было!..

В скверный сюжет попали шевровые сапожки. Все им стало ясно, и, не оказывая сопротивления, поплелись они в сопровождении кирзы в «додж».

– Вы проиграли, Даун! – говорят им вслед штиблеты. – Ваша попытка торпедировать измерение кровавого явления

товарища Сталина сорвана!

– Скоро и вам придется «водить», – вяло огрызнулись сапожки.

– Молчать, сукин сын Альбиона, – заорала вторая пара штиблет.

«Додж» вжикнул и слинял, а в желудке моем происходит что-то такое, словно сидит в желудке моем белка и вертится от тоски, как в колесе. Все, Фан Фаныч! Ослабнешь ты скоро, растаешь Снегурочкой в царском подземелье, врежешь дуба, протухнешь, загужутся в тебе трупные черви, и провоняешь ты смердыней весь Ливадийский дворец...

Лежу я себе, думаю, а жрать, однако, охота, но светить Фан Фанычу ничего не светит. Тут кирза всякая, яловые да шевровые со штатскими ботинки забежали, загоношились вдруг, притырились в кустах и за клумбами, и услышал я шаги самого. Их с другими не спутаешь. Направился к плетеному креслу в пяти-шести метрах от меня. Шагает, змей, явно заискивая перед своей свободолобивой и дерзкой правой ногой. Февраль, а вокруг зелено, внизу море шумит, и очень, в общем, тепло. Сел в кресло. Ногу на ногу не кладет. Озабочен. Не желает ущемлять ни ту, ни другую. Но левая, любимица, почуяла изменение к ней отношения и закапризничала, заизгилялась, завертела мыском штиблетины. Сталин как трахнет ее рукой по коленке, она и присмирела вмиг. Вытянулась. Подходит Молотов в светло-крысиных мидовых брючках.

– Все в сборе, Иосиф. Можно начинать консилиум.

– Я не вижу артиста Алейникова. Где этот интеллигент?

– Алейников категорически отказался лететь, пока не опохмелится с Борисом Андреевым. Самолет уже был готов, профессора взяты и... Алейников остался в Москве. Я, говорит, большая жизнь и всех вас теперь...

– Какой отчаянно смелый человек! – говорит Сталин. – С такими людьми я бы уже давно был в Берлине, а может быть, и в Париже... Приказываю приступить к дальнейшей работе над фильмом «Большая жизнь». Готовиться к суровой критике второй серии этого произведения. Эй, горе-гиппократы, подойдите поближе!

Окружили Сталина светила-лепилы. Задают вопросы по сердцу, горлу, печенке и обоим полушариям мозга. Выслушал Сталин и коротко ответил:

– Нога. – Он вздохнул при этом вполне по-человечески. Приподнял слегка правую ногу, а она вдруг ехидно и весело замурлыкала: «Если завтра война, если завтра в поход. Если черная сила нагрянет».

– Что чувствуете в ноге?

– Боль локализована?

– Она холодеет?

– Дрожит? Дергается? Немеет?

– При ходьбе ломит суставы? – спросили шлепанцы, фетровые ботинки, разные ботинки, валенки, бурки и прочая обувь. Сталин монотонно отвечал на каждый вопрос: «Бес-

покоит... беспокоит... беспокоит». А нога евонная совсем по нахаловке распелась: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...» Шлепанцы не выдержали и жестко говорят:

– Для меня вы, товарищ Сталин, всего-навсего пациент. Я должен знать точно, на что вы жалуетесь. Что у вас все-таки с ногой?

– Она – сволочь, сволочь! – взвизгнула левая нога, не выдержав унижения.

– Беспокоит. Приступайте к лечению, – ответил Сталин.

– Шприц! – сказали шлепанцы, и нога, Коля, вмиг прекратила долдонить песенки совкомпозиторов.

– Отставить шприц. Больше не беспокоит, – с облегчением сказал Сталин и спросил с юморком. – Если ее ампутировать, то не будет вообще беспокоить?

– О хирургическом вмешательстве говорить еще рано, – резко оборвали его шлепанцы.

– Если она, однако, начнет беспокоить меня на конференции, – Сталин погладил коленку правой ноги, – попрошу Бурденко оторвать вам все ваши головы! Нейрохирург он неплохой.

Кто-то что-то доложил Молотову, тот – Сталину. Всю обувь, которая рядом была, как ветром сдуло. Сталин встал и не спеша двинулся кому-то навстречу, а рядом с его креслом поставили еще два. Вот пропал он с моих глаз. Где-то затрекали по-английски, кинооператор с треногой и огромной

задницей заслонил от меня все видимое пространство, и я, рискуя зашухариться, зашипел:

– Встань левей, кретин важнейшего из искусств!

Мгновенно отошел и даже не оглянулся. Ног и брюк генеральских, дипломатических и заграничных столпилось около кресел множество. Наконец показались сталинские штиблеты, коричневые здоровяки-полуботинки, а между Сталиным и – это я с ходу просек – Черчиллем ехала коляска из белого металла на велосипедных шинах. В коляске Рузвельт сидел. Ноги пледом шотландским укрыты. Коляску толкал переводчик.

– Я бы с удовольствием, господин Рузвельт, прокатил вас по этим дорожкам сам, – сказал Сталин, – но боюсь, что ваша так называемая свободная пресса превратит безобидную прогулку в символ того, как Россия неизвестно куда толкает Америку. Ха-ха-ха!

Рузвельт и Черчилль тоже хихикнули. Рузвельта на руках перенесли в кресло. Сталин и Черчилль сели слева и справа. У Сталина настроение мировое, Крым хвалит, про царя Николая и какие он бардаки здесь закатывал несет околесицу и советует глубже дышать хвойно-морским воздухом своим высоким гостям. А Черчилль, как старый морской волк, ворчит, что, дескать, зюйд-вест доносит до него запах дерьма и что такой зловонной вонищи он не нюхивал аж с самого 1918 года. Он просит президента и маршала, пожалуйста, приняться к его всего-навсего предположению. Рузвельт

мягко и вежливо сказал, что у него аллергический от эфирноносных растений насморк. Сталин неожиданно согласился с Черчиллем, что действительно несет дерьмом, как на допросах Каменева и Зиновьева, но только, говорит, это не так называемый зюйд-вест, а откуда-то сверху. Зовет начальника караула. Подбегает. Каблук об каблук – стук.

– Товарищ маршал! Начальник караула генерал-майор Колобков явился по вашему приказанию.

– Кто у вас смердит вон на том дереве? – спросил Сталин.

– Ефрейтор Симвалиев, товарищ маршал.

– Снимите его с поста и подведите с подветренной стороны.

– Есть! – Генерал подбежал к кедру. – Ефрейтор Симвалиев, покинуть пост!

– Есть покинуть пост!

– Двигаться осторожней и против ветра!

– Есть против ветра!

Вижу, повис Симвалиев на суку, прыгнуть хочет, а галифе его местами набухли от того, что он в них навалил, нахавшись по кремлевской усиленной норме. Да, думаю, время есть, а мы еще и не срали. Тебе все же, Симвалиев, легче.

– Вы поразительно хорошо знаете солдатскую службу, – говорит Рузвельт Сталину.

– Я желаю, чтобы и ваши, с позволения сказать, часовые не покидали своих постов ни при каких обстоятельствах, – отвечает Сталин. – Ты воевал, Симвалиев?

– Так точно. Трижды ранен в живот.

– Молодец. Генерал Антонов, разжалуйте Колобкова и посадите на кедровый сук. Пусть хлебнет солдатской жизни. Тыловой кот. Симвалиева наградить медалью «За отвагу», произвести в офицеры и после победы назначить секретарем Союза писателей. Там такие люди нужны. Пусть создает романы на темы международной жизни. Ра-зой-дись, а то ветер переменился.

Черчилль засмеялся. Все слиняли.

– У меня неожиданно появилось так называемое хорошее настроение, – говорит Сталин. – А как у вас, господин президент?

– Я чувствую себя отлично. Я думаю, что наша встреча будет удачной. Трудности, скажу без дипломатических обиняков, я предвижу лишь в разговоре о Польше, а вопросы об ООН, репартациях в освобожденной Европе, о ваших пострадавших по родине военнопленных и так далее не представляются мне сложными. О неразрешимости их я и мои советники предпочитаем не думать вообще.

– Согласен, – говорит Сталин, а правая нога его с большой симпатией покнокивает то на Рузвельта, то на Черчилля. Левая же забралась под кресло, как обоссанная кошка.

– Ах, польский вопрос... Польский вопрос! – говорит Черчилль. – Не хотите ли, маршал, сигару? Гавана.

– Благодарю. Я в некоторых вопросах консерватор.

– Ха-ха-ха! – захохотал Черчилль. – Я представил сейчас

картину послевоенного мира, если бы маршал, испытав ужасы экстремизма Гитлера, стал вдруг консерватором и в области политической морали... если бы Россия вышла из горнила войны великой и демократической державой. Золотой век международных отношений в сей миг не кажется мне, господа, утопией. Не хватит ли враждовать вообще?

– Я понял мысль премьер-министра, – говорит Рузвельт. – Америка готова быть союзником России во времена Мира. Союзником в деле восстановления Европы и ликвидации разрухи. Поистине общей целью великих держав должны быть мир и благоденствие народов нашей многострадальной планеты. Что вы скажете, господин Сталин?

Сталин, конечно, задумался, а правая нога, истосковавшаяся, видать, по порядочному обществу, прижалась на миг сиротливо и ласково к левой ноге Рузвельта. Левая же сталинская случайно якобы наступила на правый здоровячок – ботинок Черчилля. Черчилль тоже на нее наступил и говорит:

– Это, господин Сталин, для того, чтобы не ссориться.

– Сталин! Кацо! Послушай! – вдруг, охренев, как я понял, от радужных перспектив, воскликнула правая нога вождя, вскочив на левую. – Дело они говорят, дело! Тебе же седьмой десяток пошел, корифей! Сколько можно жить в туфте, среди говноедов и ублюдков вроде полоскорожей камбалы Молотова, амбала Кагановича и хитрого Маленкова? Разгони ты их дубовым дрыном! Дай Берии приказ разоблачить

лжетеорию базисов и надстроек... Верни землю крестьянам, сними удавку с горлянки экономики, поживи остаток дней как Человек. И мир ты посмотришь, и погуляешь от пуза, и отпустят тебе все церкви мира кровавые твои грехи, и слава твоя воссияет не туфтовая, а истинная и небывалая. Сделай. Сосо, прошу тебя, поворот на сто восемьдесят градусов! Сделай! У тебя и друзья преданные появятся, и слезы благодарности из глаз людских потекут! Сделай поворот! Ты же умеешь!

– А что, если действительно представить себе невозможное, – говорит вождь, – представить Сталина, реформирующего марксистско-ленинское учение, возвращающего нэп и, наконец, допускающего существование Бессмертия Духа и так называемого Демиурга?

– Ну почему, Сосо, невозможное? Почему? – страстно спросила нога. – Представь! Представь!

– Я лично представил себе это, несмотря на бедность воображения, – сказал Черчилль. – Дух захватывает, как от армянского коньяка!

– Ошеломляющая перспектива! – согласился Рузвельт.

Сталин тоже, очевидно, представил себе всю эту картину.

– А главы великих держав по очереди исполняли бы обязанности Генеральных Пастырей Народов Мира, – мечтательно сказал он после долгой паузы. – ГЭПЭЭНЭМ... ГЭПЭЭНЭМ... Сокращенно.

– Ты знаешь, Сосо, как приятно побыть субъективным

идеалистом хотя бы недельку на Женевском озере! – воскликнула правая нога. – Позагорать, поесть шашлык с Чарли Чаплином, поцеловать шоколадный сосок Ингрид Бергман, лимонный сосок Марлен Дитрих. Спеть с Карузо «Сулико»...

Тут к Сталину, дорогой мой Коля, внимательно и тоскливо слушавшему выступление своей либеральной конечности, подходит Молотов, отводит вождя в сторонку и что-то шепчет на ухо, а Сталин изредка прерывает его наушничество вопросами: «Сознался сам?», «Связи установлены?», «В его планы входило физическое уничтожение?».

– Господа! – обратился он наконец к союзникам. – Мир будет сохранен и упрочен, когда народы возьмут дело мира в свои руки и будут отстаивать его до конца. Вы, империалисты, хотели бы убаюкать нас, коммунистов, разговорами о золотом веке международных отношений, а сами наводняете Советский Союз своей агентурой. Вот и сегодня, господин Черчилль, наши органы обезвредили вашего шпиона Дауна, окопавшегося в непосредственной близости от меня. Ай-ай-ай! Мы приносим свои извинения Интеллидженс сервис.

– Поверьте, маршал... – начал было оправдываться Черчилль, но тут правая нога снова задолдонила:

– Скоро сдохнешь и умрешь! Расстреляй Вячеслава Михалыча! Где же ты, моя Сулико-о-о?

Сталин застонал и, изо всех сил растирая правую ногу, сказал:

– Не будем, господа, выяснять отношения. Пора завтракать и начинать конференцию.

– Вы плохо себя чувствуете? – спросил Рузвельт.

– Опять проклятая нога беспокоит. Я завидую вам, президент. Вы доказали, что великие государственные деятели вполне могут обходиться без ног. Итак, жду вас, господа, заморить червячка.

Сталин встал и, прихрамывая, скрылся с глаз моих. Рузвельта увезли, а Черчилль сам покандехал завтракать. У меня же, Коля, слюней от голода не осталось. Вытекли слюнки. Тю-тю! Хоть полуботинки жрать принимайся. Что делать? Пожевал я кусочек столярного клея, отколупал его от тахты, но он, гадюка, лишь запломбировал два моих дупла, что тоже было кстати. А сколько я так выдержу, не знаю и не представляю. Закемарил. Разбудил меня Сталин. Он вопил на профессоров:

– Я спрашиваю: когда она перестанет меня беспокоить? Вы – врачи или враги народа?

– Целый ряд комплексных мер, Иосиф Виссарионович, которые мы сейчас назначим, сделают свое дело. Расширим сосудики, проведем массажик, примем хвойные и молочные ванны, – отвечают бурки.

– Только без паники, – брякнули бесстрашные шлепанцы, – без мнительности, без демобилизации нашего остального духа. Натрем ее коньячком. Я сам всегда так поступаю. Просто чувствуешь ноги после массажа чудеснейшей частью

тела.

И вот, Коля, натерли Сталину ногу коньяком.

— Ну как? — спрашивают шлепанцы. — Что вы теперь чувствуете, больной Сталин?

Эх, думаю, канты тебе пришли за такое обращение, дорогой профессор. Однако Сталин помолчал и сказал:

— А ведь действительно, Сталин очень больной человек, хотя вся партия, весь наш народ думают, что Сталин здоров как бык. «Больной Сталин», — проговорил он с усмешкой. — Нога не беспокоит. Ей тепло. Какой коньяк?

— Армянский. «Двин», — докладывает Молотов, а бурки, шлепанцы, галоши и разные ботинки начали потихоньку линять.

Нога же, поддав коньячку, раздухарилась и запела тихим, но полным железной логики голосом: «На просторах родины чудесной наша гордость и краса, и никто на свете не умеет, эх, Андрюша, лучше жить в печали! Первый сокол Ленин!»

— Ну что ж, — зловеще сказал Сталин, — посмотрим кто кого. Посмотрим!

— Мы их обведем вокруг пальца, Иосиф, — вмешался Молотов, — сделаем вид, что мы тоже классические дипломаты. Успокоим совесть союзников и, соответственно, общественное мнение их стран. Согласимся на создание коалиционного правительства в Польше, на свободные выборы и так далее. Вытребуем наших пленных... А потом мы их...

— Вот ты, Вячеслав, дурак, а иногда говоришь умные ве-

щи. А сейчас на словах будем уступчивы. Будем якобы реалистичны. Будем якобы надклассовыми личностями. Что слышно от Курчатова? Неужели в наше время так трудно расколоть эти вонючие атомы урана-235?

– Будет, Иосиф, игрушка! Будет! Работа идет вовсю, – заверил Молотов.

– Учти, без нее нам всем крышка. Без нее нас больше не спасет никакое русское чудо. Без нее мы наложим в штаны, как тот часовой и... Черчилль наконец выиграет свою игру. Нас ждет тогда второй Нюрнберг.

– Сталин! Скоро сдохнешь и умрешь, – перебила вождя нога. – И сгниешь, и сгниешь! И не помогут тебе тыщи атомных бомб! Думаешь пролежать всю жизнь рядом с Ильичом? Не дадут соратники верные. Не дадут. Вот скоро сдохнешь, и умрешь, и немного полежишь рядом с учителем. Потом выкинут тебя из Мавзолея, как крысу, обольют помоями и закопают в общественной уборной. Соловьи, соловьи, не тревожьте со-о-ол-дат... А знаешь, кто тебя перекантует с глаз народа в сортир? Не знаешь! Угадай! Не угадаешь! Ха-ха-ха! Я ведь говорила тебе, чтобы не писал ты «Марксизма и национального вопроса». Награбил бы себе миллион и гулял бы сейчас с Орджоникидзе в том же Лондоне по буфету. Был бы, например, советником Черчилля по русскому вопросу. Или татарочек крымских щупал бы. А ты погорел сильнее, чем Фауст Гете. Мудак ты сегодня, а вовсе не полководец всех времен и народов. Дай коньячку! Я тебе еще не то ска-

жу. Посинеешь, рябая харя!

– Ответь, Вячеслав, – говорит Сталин, – как перед Богом: что вы, сволочи, со мной сделаете, когда я скончаюсь? – Ты бы слышал, Коля, как тоскливо он это спросил, как задрожал его стальной голос.

– Извини, Иосиф, но ты все эти дни неоправданно мрачен, – сказал Молотов. – Ничего, кроме Мавзолея, тебя не ждет. Ты же прекрасно знаешь это. Я говорю так прямо, потому что тебе необходимо справиться с депрессией. Дела ведь у нас идут лучше, чем когда-либо. И на фронте, и в тылу.

– В тылу. Я оставил тыл на Лаврентия, а он, когда предлагает свои мужские услуги девочкам непризывного возраста, забывает не то что о тыле, а в каком районе Москвы находится Лубянка... Да... «Ничего, кроме Мавзолея, тебя не ждет». Приятную, однако, перспективу нарисовал для Сталина министр иностранных дел. Ди-пло-ма-ат!

– Тебя выпотрошат, как барана. Это верно, – говорит правая нога, – мозги вытащат и сравнят с ленинскими. В тебе не будет ни одного трупного червяка. Все верно. Но то, что один из твоих соратников иуда твой, перекантует тебя с позором из хрустального гробика во мрак земной – несомненно. Несомненно! Кровопийца и убийца! – пропела нога. – Одинокая какашка! Самодержец вонючий, вот отдай приказ тебя порадовать. Нету такой силы в мире. Не будет тебе радости! Не будет!

– А мы возьмем и устроим после нас с Иосифом Виссарионовичем хоть потоп! – крикнула левая нога.

– Ничего, Вячеслав, ничего. Мы еще посмотрим, кто кого, – поддержал ее, страшно обрадовавшись, Сталин и вдруг велит Молотову: – Подготовь стратегический план помощи Мао Цзэдуну. Победим Японию, создадим Китай с миллиардным населением и тогда посмотрим, кто кого! Посмотрим! – пригрозил Сталин и засмеялся. Ей-богу, Коля, я тогда просек, какие заячьи уши решил он от вечной злобы заделать после своей смерти вечно живому советскому народу, соответственно, вечно живому советскому правительству и нашей родной КПСС. Именно так и именно в тот момент, Коля, Сталин был самым дальновидным и коварнейшим гнусом всех времен и народов. Взгляни, пожалуйста, на дорогой Китай, на братца нашего желтолицего Каина с вырожденками, культурной революцией, с водородками и ракетами.

– Двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война, – замурлыкала нога, а Сталин добавил:

– Направь, Вячеслав, в Китай советников. Военных и научных. Пусть там готовят базу для ядерных исследований. России необходим могучий Китай! Я хочу оставить ей в наследство великого брата и друга. Ха-ха-ха!

– Все равно разоблачат, всех врагов освободят, а тебя из Мавзолея темной ночью унесут. Дурак, – пьяно сказала нога. Тут подоспел Черчилль и говорит Сталину:

– Позвольте, маршал, вместо извинений сообщить вам, что полковник Даун не числится в нашей разведке. Хотя, сами понимаете, и в моем окружении, рассуждая теоретически, мог бы оказаться ваш человек.

– Абакумов! Что скажешь? – спросил жестко Сталин. – Отвечай. У нас сейчас с господином Черчиллем нет секретов. Они там наслушались сказок о зверствах наших органов. Так вот, доложи нам всю правду.

Подходят, Коля, поближе к Черчиллю сапоги. Пошиты изумительно. Но на голенищах – ни складочки, и кажется, что в сапогах нету ни одной человеческой ноги, а налит в них свинец, и застыл тот свинец, к чертовой матери, и будет стынуть в сапогах до тех пор, пока не расплавят его в адском пекле. Докладывают они, эти сапоги:

– Общую картину заговора, товарищ Сталин, составить пока еще трудно. Даже в Англии расследование особо сложных дел занимает не один день. Но мы уже получили от бывшего полковника Горегляда ряд ценнейших показаний. Возможно, он и Даун, и Ширмах, и Филлонен. Подследственный ловок, хитер и изворотлив. Пытается бросить тень на Четвертое управление Минздрава с явной целью отомстить профессору Кадомцеву за разоблачение.

– Хитрый ход, – перебил сапоги Сталин. – Пора, господа, пора. Что касается врачей, то мы установим за ними наблюдение. А они пусть наблюдают за нашим здоровьем. Кто-нибудь таким образом и попадется... Не все веревочке вить-

ся... Для начала арестуйте этого... который в шлепанцах. Дворянин, очевидно...

– Сталин – жопа и дурак, несчастное говно! Скоро сдохнешь и умрешь. Пропавшая твоя жизнь! Сын твой – пьянь, а дочь тебя ненавидит! Одинокая какашка!

– Запомни, Вячеслав: за китайский вопрос отвечаешь у меня головой. Это вопрос номер один, я вам покажу, вы у меня попляшете, голубчики! – Сталин даже ручки потер от удовольствия, когда представил расстановку сил на мировой арене и бардак в коммунистическом движении после того, как Китай позарился на российские и прочие края. – Я вам подкину такого цыпленка табака, что вы у меня пальчики облизаете. Все! Пора кончать с Германией. И пора кончать с Японией. Пора помочь Мао Цзэдуну сбросить Рузвельта в Тихий океан. Подгоните Курчатова, а не то я назначу президентом Академии наук Лаврентия. Я вам покажу, негодяи, как вербовать мою ногу! Сталин действительно гениальный стратег! И ему есть для чего жить.

Это, Коля, были последние слова, которые я слышал. Тихо стало. Конференция началась. Генерал Колобков привел подменных, снял с деревьев и вывел из кустов часовых-тихарей и скомандовал, поскольку те плясали от нетерпения:

– На оправку бегом, шагом ма-арш! Крепись! Не то все на фронт угодите, засранцы!

Протопали мимо меня солдатики, а я, Коля, не подход с голоду самым чудесным образом. Они там вечером банкет за-

хреначили, и вдруг сверху, сквозь сплетение глициний и лоз виноградных что-то перед самой моей решкой – шарах-бабах. Я еще руку не успел сквозь нее просунуть, а уже учуял, унюхал – гусь! Гусь, Коля! Но зажаренный так, как только может быть зажарен гусь для товарища Сталина. Объяснить вкуса этого гуся на словах нельзя. Этого гуся, Коля, схавать надо. А уж как он упал, черт его знает. Может, официант поскользнулся, может, сам Сталин подумал, что чем обаятельней выглядит гусь, тем вероятней его отравленность, взял да и выкинул того жареного гуся в окно, опасаясь за свою драгоценную жизнь. А жить, Коля, как ты сам теперь видишь, было для чего у товарища Сталина. Он нам заделал-таки великий Китай, и что с родиной нашей Россией будет дальше, неизвестно. Нам с тобой, милый Коля, в будущее не дано заглянуть. Потому что мы с тобой не горные орлы, а всего-навсего совершенно нормальные люди. И слушай, почему бы нам не выпить, знаешь за кого? Нет, дорогой, за эков – слонов, львов, обезьян, аистов и удавов мы уже пили. Давай выпьем за ихних служителей! Да! Давай выпьем за них! За обезьяний и гиппопотамский, за птичий надзор! За то, чтобы он не отжимал у тигров и росомах мясо и бациллу, у белок – орешки фундук, у синичек семечки, у орангутангов бананы, у тюленей свежую рыбу. И еще за то выпьем, чтобы не бил надзор зверей-заключенных. Не бил, не колот и не дразнил. Понеслась, Коля! Давай теперь возвратимся в человеческий мой зоопарк, в подлечий лагерь.

Вдруг Чернолюбов хипежит на весь наш крысиный забой: – Товарищи! Опасность слева! Приготовить кандалы к бою!

Я ведь, Коля, совсем забыл тебе сказать, что мы были закованы. Тяжесть небольшая, но на душе от кандалов железная тоска. Повоевали с крысами. Побили штук восемь. Норму на две крысы перевыполнили. Цепочки погремели. От работы повеселели все. Шумят. Лыбятся. Разложили крыс на камешках и стали им фамилии присваивать: Мартов, Аксельрод, Бердяев, Богданов, Федотов, Мах, Флоренский, Авенариус, Надсон, а самую большую крысу окрестили, извини за каламбур, Вышинским. Чернолюбов тут же предложил товарищам встать на трудовую вахту в честь Дня учителя и взять на себя повышенные обязательства покончить с неуловимым вождем каторжных крыс самцом Жаном Полем Сартром ко дню рождения Сталина. Зэки мне легенды о крысином вожде тискали. Огромен был и хитер. Нападал бесшумно. Кусал исключительно за лодыжки и любил хлестаться, убегая, холодным длинным хвостом. Видел в полной темноте прекрасно, хотя имел, по слухам, бельмо на глазу.

Ведь Берия, Коля, какую каторгу изобрел для старых большевиков? С утра до вечера бороться с крысами, которых в руднике было навалом. Причем, повторяю, бороться

в полной темноте. А вот откуда они брались, позорницы, тоже легенды ходили. Я-то думаю, что рядом с нашей зоной был лазарет, а при нем кладбище. Верней, свалка мертвых эков. Крысы на нем гужевались от пуза, а к нам в забой по каким-то подземным ходам бегали для развлечения. Для игры. Опасная игра, но крысы ее любили. Без игры, очевидно, в природе нельзя. Есть даже такая теория игр. И проклял я себя еще раз в том забое за то, что сам напросился в него по-пасть. Однако, сам знаешь, приговор приговором, но стремиться к свободе надо. Мы ведь чем отличаемся от питонов и бегемотов в зоопарке? Мы знаем совершенно точно конец нашего срока. Хотя он, пока не восстановили так называемые ленинские нормы законности, тоже бывал нам неизвестен и неведом более того.

Первым делом научился я видеть в темноте. Добился этого просто. Ты же знаешь, я любил читать в экспрессах и вычитал, что у людей когда-то в чудесные доисторические времена имелся третий шнифт. Где-то между мозгой и хребтиной, а возможно, и на затылке. Темнота полная, вернее, чернота тьмы мучила меня ужасно, и холодина к тому же убивала просто мою душу, Коля. К темноте этой тоже, разумеется, привыкнешь, на ощупь стоишь, ходишь, время убиваешь, трекаешь, крыс глушишь, и больше нету у тебя никакой другой работы, но очень уж скучно, Коля. Очень скучно. И тогда я себе сказал: «Ты должен, Фан Фаныч, победить тьму момента, а заодно и историческую необходимость, которая,

как дьявол, хочет схавать личную твою судьбу!» Так я сказал и начал воскрешать с полным напряжением души и искусством рук давно ослепший третий шнифт. Раз запретил Берия иметь самым важным каторжникам в забое спички, раз запретил добывать огонь первобытным способом и пропускать во тьму лучи солнца, луны и звезд, то Фан Фаныч имеет право нарушить режим, несмотря на угрозу попасть на лазаретную свалку к крысам! Имеет! Имеет! Имеет!

Массирую я, Коля, сначала лоб. Никакого результата. Рога, по-моему, зачесались, а светлее от этого не стало. Массирую вмятину на затылке и в ужас прихожу. Вмятина-то эта от удара прикладом. В двадцатом схлопотал. Вдруг приклад красноармейской винтовки, сам того не ведая, уделал на веки веков мой третий шнифт? Что тогда? Уныние наступило. Четыре месяца тружусь. Ничего не получается. Вспомнил дирижера Тосканини. Он наверняка кнокал третьим шнифтом в зал.

Решаю поставить крест на всех участках черепа, кроме одного: шишечки под вмятиной, вроде маленького холмика она. Тру, мну, снова глажу по часовой стрелке, потому что все важно делать по часовой стрелке, даже мочиться и сдавать бутылки. Мною замечено, Коля, что эта падла Нюрка, которая летом пивом торгует у нас за углом, зимой посуду принимает, и если сдашь ей посуду не по часовой стрелке, обязательно объе... извини, на полтинник или вовсе половину не примет. И что я ей такого, гадине, сделал? Ты пойми,

мне не полтинника жалко, и пиво я датское в банках беру в самой «Березке», но зачем так мизерно использовать правило часовой стрелки?

Короче говоря, двадцать один день обрабатывал шишечку под вмятиной, холмик обрабатывал, и зачесался он, словно спросонья настоящий шниффт. Приятно зачесался, чешется, даже повлажнел, прослезился. Но видимости никакой. Темно в забое. Чернолюбов разбирает себе, надо ли было проводить коллективизацию и убирать нэп или не надо, а я тру, тру и тру ослепший за временной ненадобностью третий шниффт. Вспоминай, говорю, солнышко мое, как ты в пещерах вечных ночей мне служил, вспоминай, вспоминай! И вдруг, Коля, отнимаю я от черепа руки и вижу в двух шагах за собой в серой полутьме надзирателя Дзюбу. Но виду, что вижу его, не подаю. Не то, сам понимаешь, сразу лишишься, как бритвы при шмоне, неположенного органа зрения. В этом третьем шниффте оказалось очень большое удобство. Глядел он не вперед, а назад, с затылка, и смотреть по сторонам сперва было непривычно. Стоит Дзюба, никто его не видит, только я. И лицо, прости за выражение, Коля, у Дзюбы чем-то на свое не похоже. Что-то нормальное в нем появилось, как, скажем, в лице какого-нибудь дебила, пришедшего со страхом и срочной болью вырывать зуб. Как будто ноет в Дзюбином теле под портупеей и погонами больная душа, ноет и не может просечь, откуда и за что послана ей такая боль. Покнокал я третьим шниффом и на штурмовиков Зимнего

дворца. И в ихних лицах, в ихних особенно глазах такое же выражение было, как в лице и шнифтах народного надзирателя РСФСР и заслуженного надзирателя Казахской ССР Дзюбы. Ужас, какое выражение, Коля! Немая, слезная, последняя мольба: скорее же вырвите нам душу! Вырвите! Нам же больно! Понимаете? Очень больно! Ну сколько это может продолжаться? Боль, одним словом, состругивает много лишнего с человека.

Тут, Коля, Фан Фаныч не выдержал такого зрелища, смахнул слезинку с третьего шнифта. Закрыл его и говорит:

– Внимание! Жареными семечками пахнет, борщом и салом в забое!

– Верно! Чуετε, гады, чекистский дух. Пришел я вас порадовать. Международная реакция заточила в застенки борца за мир Никоса Белоянниса! Но радоваться вам недолго. Народы грудью встанут на его защиту! Выходи на митинг вольняшек! Стройся! И чтоб цепей не терять! Ясно, сволочи?

– Руки прочь от Анджелы Дэвис! – говорит Чернолюбов. – Руки прочь от Назыма Хикмета! Мы с тобой, Корвалан!

– Молчать, циники проклятые! Чернолюбову за иронию трое суток карцера! – отвечает Дзюба.

– О нет! Мир еще не был свидетелем такой трагедии непонимания единомышленников единомышленниками! Есть трое суток карцера! Дисциплина должна быть дисциплиной даже здесь. Партийная дисциплина – абсолют! – Все это Чернолюбов трекал в строю по дороге на митинг.

А я иду по зоне и смотрю назад, на эков, на бараки, на заборы с козырьками, проволоку колючую и вышки с попками. Смотрю третьим шнифтом на все на это, и трудно ему узнавать знакомую лично мне, Фан Фанычу, жизнь и мир вокруг. Смотрю на то, что мы, люди, с ним сделали. Чернолюбов спрашивает меня:

– Зачем вы, товарищ Йорк, голову так задираете? Что-то вождистое в вас появилось. Вокруг странно смотрите.

И верно, Коля, просек этот идиот. Ведь у третьего шнифта угол зрения был совсем другой, не тот, что у двух остальных. Мне приходилось задирать голову и медленно ее поворачивать, а впереди себя ничего не видел, только небо и тоскливые осенние серые тучи на небе. Тут я и догадался, что вожди пробиваются в люди с немного приоткрытым третьим шнифтом. У них и поворот головы солидный или же, наоборот, шея верткая, и вскидывают они то и дело голову: пристально смотрят назад, на стадо, которое ведут, а передние шнифты прищуривают, потому что на хрена они нужны в момент управления стадом? Но стаду, Коля, кажется, что вождь видит необозримые дали, что заглянул он, родимый, туда, куда не дадено заглянуть простым смертным, и увидел там при этом такие чудеса, такую прекрасную жизнь, что людям свою собственную не жалко положить и жизнь своих сыновей, и любые трудности вынести, лишь бы внукам и правнукам было хорошо. Уж они-то, ласточки, воспользуются плодами дел наших, снимут урожай с земли, политой кровью

рабочих, крестьян, интеллигентов, военнoслужаших, и загужуются от пуза.

В oбщeм, Коля, задирают вoжди свои гoлoвы, oглядывая третьим шнифтом печальный путь, пройденный людьми, спасти их хотят. Но пропасти впереди себя не видят. И тут уж не до хорошего. Дай Бог, чтобы внукам дышать чем было, дай им Бог водицы кружку и птюху хлеба на день, помощи нам, Господи, прекратить превращение одного из бесчисленных творений твоих – прекрасной земли – в камеру смертников, где обсасывают перед последней секундочкой жизни крошку хлебушка и слизывают с края оловянной кружки водички последний глоток!

Короче говоря, Коля, шел я тогда по зоне и думал, что если открылся у тебя третий шнифт и увидел ты общую муку палачей и казнимых, и понял – это исключительно между нами, Коля, – понял, что очень хорошо и сочувственно к ним ко всем относишься, то ты – нормальный человек. Кстати, важно в такой миг за несчастных помолиться. Но если, Коля, в миг этот страстно захотелось тебе всех и себя спасти, если задрожал ты от ярости и ненависти и показалось тебе, что просек ты истинную причину нечеловеческих мук и что, следовательно, надо мир переделать и так его, милого, перелицевать и устроить, чтобы тот, кто был Никем, внезапно, на обломках старой жизни, на баррикаде, стал Всем, Всем, Всем, то – держитесь, братцы, держитесь, голуби, держитесь, ласточки, – ты понесся, Коля, в вoжди!.. Слушай, я же не

о тебе лично толкую, ты никогда не будешь вождем. Ну зачем ты заводишься с пол-оборота? В общем, держитесь, голуби! Держитесь, ласточки, запасайтесь лекарствами! Сейчас вас начнет спасать очередной вождь. Вперед, мерзавцы! Вас, сук, носами в самую цель тычут, а вы упираетесь, пропаскудины, и еще хотите, чтобы я вас по головам гладил? Не дождетесь! Брысь вперед, негодяи! Кыш, лоботрясы, в светлое будущее! Руки прочь от Белоянниса!

Вывели нас в зону, значит. Поставили сбоку от вольняшек. Предупредили, конечно, что в случае побега шмальнут на месте. Речуги начали кидать. Сначала шоферюга на трибуну вылез пьяный, на ногах не стоит.

– Если бы, – говорит, – был на самом деле железный занавес, то и не узнали бы мы, что повязали греческие мусора Белоянниса Никоса. Занавес-то, он, господа поджигатели борцов за мир, с вашей стороны железный, а с нашей-то он всегда прозрачный. На-кась выкуси! Правда, господа путешествуют без путевых листов, по-вашему без виз, и лучше давайте подобру-поздорову руки прочь от греческого народа и его старшего сына Никоса, не то я две смены зэков на погруз-разгруз возить буду.

Тут шоферюгу баба с трибуны сволокла и по харе, по харе его – бамс, бамс.

– Где, – говорит, – таперича получку евонную мне искать? Помогите, прогрессивные люди добрые, с окаянным Пашкой управиться. Фары опять залил бесстыжие! Руки прочь от же-

ны и детей!

Шуганули их обоих. Чернолюбов мне шепчет:

– Теперь вы представляете, Йорк, какой у нас объем работы и снаружи, и внутри?

Я ответил, что хорошо представляю и все передам Галлахеру.

За шоферюгой кинул речугу молоденький начальник нашей каторги. Этот замандражил от возмущения на поступки классового врага, голос срывается.

– Где, – говорит, – ваша совесть и честь Эллады, вспомните Гомера, господ, Байрон кровь за вас проливал! Как вам не стыдно, как рука у вас поднялась посадить Никоса Белоянниса с гвоздикой в петлице, посадить в Тауэр? Опомнитесь! Вот что такое ваша хваленая демократия и свобода! Свобода кидать за решетку лучших сынов народа! Услышь нас, товарищ... – Тут, Коля, Дзюба что-то проямлил начальнику и смутил его. Все же Белояннис хоть и грек, но зэк. Смутил, и начальник начал сбиваться: то назовет Белоянниса товарищем, то гражданином, как посоветовал ему, наверное, Дзюба, то по новой товарищем и все историей стыдит греческое МГБ.

– Постесняйтесь Зевса! Призовите на помощь всю свою Афродиту. Не позорьте родины огня, пощадите больную печень Прометея, руки прочь от Манолиса Дэвис!

Зэки мои бедные вопят вместе с вольняшками и вохрой: «Руки прочь! Руки прочь от Эллады!» Потом вылезла на три-

буну, Коля, начальница бабского лагеря, тоже вроде Дзюбы бывшая исполнительница кровавых романсов Дзержинского и Ежова, и говорит:

– Дорогие товарищи и вовсе не дорогие никому из нас граждане враги народа! Вот смотрю я на Анну Ивановну Ашкину в первых рядах, на председателя райисполкома, и думаю, в какой еще стране кухарка может руководить государством? В Англии? Нет! Во в США? Нет! Али в Гватемале? Нет! Или взять меня. Муж мой погиб в тридцать девятом году на боевом посту. Нагремшись шибко, взорвался в его руках наган, которым он вывел из строя лучших наших матерых врагов народа. Похоронила я Семен Семеныча и заступила на его место. И товарищи не подъялдыкивали меня поначалу. Поддержали советами, к мушке глаз приучили. Пошло тогда у меня дело. Пошло! А что было бы тогда со мной в Америке? Было бы! Подохла бы я под статуей Свободы без работы, и никто там женщине не доверил бы не то что электрических стульев, товарищи и граждане, а и револьвера плохонького не доверили бы. Присоединяю свой голос к протесту. Мы с тобой, Никось Белояннись!!!

Слезла с трибуны, слезы ее душат. «И кто же ему, родненькому, передачку принесет?» – вопит на весь митинг. Махнул Дзюба рукой Чернолюбову. Тот и взлетел, гремя кандалами, на трибуну. Горло ему сначала тоже сдавило. И повело, повело, повело.

– Реакция наглеет, пора взять ее за кадык... В какой еще

отдельно взятой стране мы могли бы – и надзор, и заключенные – стоять вот так, плечом к плечу, и голоса наши сливаются в гневном хоре: «Руки прочь от Белоянниса!» В какой, скажите, стране? Мы просим послать месячный паек сахарного песка в афинские Бутырки и начать всенародный сбор средств на птюху и инструмент для побега Белоянниса в Советский Союз!

Тут Дзюба громко разъяснил, что зэки не имеют права называть Белоянниса и его гвоздику в петлице товарищами. Для нас, мол, он гражданин.

– Мы с тобой, гражданин Никос, ты не одинок! Мы все с тобой в твоей тюрьме! – заявил Чернолюбов. – И вновь перед нами со всей беспощадностью встает вопрос: «Что делать?» Бороться! Бороться за урожай, бороться за снижение человеко-побегов из застенков реакции. Бороться за единство наших рядов, бороться с крысами всех мастей и с желанием поставить себя в сторонке от исторической необходимости. Да здравствует... – (Тут, Коля, Дзюба дернул за цепь Чернолюбова.) – Да здравствует гражданин Сталин – светоч в нашей борьбе. Руки прочь от Арисменди Анджелы Белояннис! Свободу Корвалану! Смерть Солженицыну и академику-врагу Сахарову! Позор убийцам!

– Ну а теперь, друзья-товарищи и граждане-враги, – говорит Дзюба, – нехай выступает перед нами самая что ни на есть реакционная шкура мракобесия, которая шеф-поваром у Максима Горького работала и в суп евонный, а также во

второе и в кофе каждый день плевала. Плевала и плевала из-за угла, а может, и еще чего делала, но признания не вырвали у нее органы. Иди, Марыськин, и отвечай товарищу Белояннису! Признавайся хоть перед ним, раскалывайся в злодействе и кто вложил в твою руку бешеную слюну! Выходи, гадина, на высокую трибуну! Живо, не то прикладом подгонят!

Смотрю, Коля, вышел из наших рядов человечешко. Первый раз я его тогда увидел, поскольку особа в высшей степени неприметная, из тех, которые стараются каждую секунду скрыться с чьих-либо глаз или же провалиться сквозь землю. Худенький человечешко, особенно какой-то жалкий, просто возненавидеть можно такого человечешку за одну только жалость, что чувствуешь к нему. И серый весь, как бушлат. Беснадега серая на лице. Нету жизни вроде бы в человечешке, и цепи даже на нем ни разу не звякнули, пока шел и поднимался он на высокую нашу трибуну. Долго кашлял, потом отхаркивался, а Дзюба приказал не сметь с трибуны никуда плевать, ибо тут ему не уха для Горького с расстегаями и на второе котлета по-киевски. Плюнул Марыськин в рукав и делает, Коля, совершенно для меня неожиданно, следующее заявление:

— Люди! Жить мне осталось недолго. Я — прекрасный, к чему уж скромничать, кулинар. Мой прадед, и дед, и отец были кулинерами. Я не служил у Горького, а работал шеф-поваром в «Иртыше» рядом с НКВД. И какому-то следователю в макароны по-флотски попал черный шнурок с неиз-

вестного ботинка. Я был взят и сознался под пытками – у меня отбиты легкие, – что плевал в блюда Максима Горького. Не пле-вал! Не плевал! Я кулинар, люди! И я желаю звучать гордо! Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину! У меня семья в Москве... жена... детишки...

Тут Дзюба ему в зубы – тык, тык, а человечиска, Коля, кровь сплюнул и по новой кричит:

– Руки прочь от Марыськина! Руки прочь! Свободу невинному человеку!

Что тут началось! Чернолюбов, гуммозник, возмущается неслыханной наглостью двурушника, поставившего свои интересы выше интересов партии. Дзюба вопит, чтобы призвал Марыськин руки прочь не от себя, а от Белоянниса, не то он ему все зубы выбьет и уксуса в рот нальет, чтоб больше было. А Марыськин заладил одно:

– Руки прочь от Марыськина!

Вольняшки и мусора сволокли его с трибуны, и самосуд пошел. Ногами, ногами в рот метят, в рот, в губы, чтобы забить сапожищами в глотку нормальную просьбу невинного человека отстать от него, к чертовой матери, и отпустить на свободу. Ногами, ногами, Коля, а сами хрипят при этом, звери, ой нет, не звери, люди хрипят:

– Руки прочь от Белоянниса Лумумбы! Свободу Димитрову и Тельману!

А человечиско, с грязью осенней смешанный, отвечает им чистым и ясным голосом, откуда только силы у него бра-

лись:

– Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину!

Дзюба нам орет:

– В зону, падлы! Цепей не терять!

На губах Марыськина пузыри кровавые, лицо он, Коля, в коленки все пытался уткнуть, чтобы уйти из жизни скрючившись, как в животе материнском, в цепях, бедный, запутался, но хипежит свое:

– Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину!

Мы уж к зоне подходили, а я, поскольку оборачиваться на ходу нельзя, все кнокал и кнокал третьим шнифтом на тело, которое месили ногами мусора и вольняшки и стервенели оттого, что никак не удавалось им загубить в Марыськине свободную жизнь. И текли из третьего моего шнифта, Коля, счастливые слезы, ибо, пусть меня схавают с последними потрохами, пусть вынут душу мою, если темно, не встречал Фан Фаныч ни в одной из стран мира и ни в одной из его паршивых тюрем такого самостоятельного человека, как подошедший в осенней грязи Марыськин. Вечная ему слава и вечный ему огонь!

Вот такой, Коля, компот и такие пироги, как любят говорить наши внешние, а также внутренние враги...

А со шнифтом моим третьим стало мне жить в забое крысином намного легче. Привел нас туда Дзюба поутрянке на следующий после митинга день и говорит, чтобы норма была перевыполнена на пять крыс, не то будем работать и в воскресенье. Беру я обушок от кайла, замечаю все крысиные ходы и выходы, баррикадирую их, паскудин, и как покажется где мерзкая крысиная рожа, я ей обушком промеж рог и врезаю, и крысе – кранты. Чернолюбов присвоил мне звание Ударника Коммунистического Труда и велел выполнить с ходу годовое задание, а Дзюба увеличит дневную норму убийства крыс – и все мы в глубокой жопе. Да и крыс таким образом можно по-быстрому ликвидировать, и тогда неизвестно, с какими тварями нам придется бороться, ибо я очень мандражу летучих мышей, пауков, мокриц и прочей пакости, ни в чем, впрочем, перед нами не виноватой. Или муравьев нам Дзюба подкинет, а с ними бороться потрудней, чем с крысами.

Убедил я товарищей, хотя был заклеямен как тред-юнионист, прагматик, кулак, мещанин и белогвардейская дрянь. Я, видишь ли, отказался установить мировой рекорд истребления крыс политкаторжанами. Глушу я, значит, потихонечку каждую смену крыс, только вот ихний вождь, почему-то прозванный Жаном Полем Сартром, все не попадаетеся со

своим бельмом на глазу и длинным холодным хвостом. Наверное, он подзуживал крысиные массы к атаке и последнему решительному бою, а сам наблюдал из своей норы или из щели какой-нибудь за нашими сражениями.

Глушу, Коля, крыс потому, что если их не глушить, то они все ноги обглодают, и просто потому, что противно. Я глушу, а товарищи рады. Фан Фаныч работает, они же благодаря ему трекают целую смену о расстановке сил на международной арене, трагедии Португалии, Испании, Югославии, скромности и простоте Ильича, нежном сердце Дзержинского, железной логике Сталина и что при коммунизме всех сразу освободят. Чернолюбов также разработал в деталях ультиматум Англии. Ей предлагалось в недельный срок выкопать шкелетину Кырлы Мырлы с Хайгетского кладбища и переправить самолетом для перезахоронения на истинной родине социализма, на Красной площади, и положить, надев костюм с бородой, рядом с лучшим учеником в Мавзолее. Если же Англия, сука такая, откажется выдать гениальную шкелетину, то с ней надо немедленно порвать все дипломатические отношения, а штат посольства держать как заложников до тех пор, пока английский народ не скажет своего гневного «нет!» королеве и ее послушному рабу – парламенту. Ультиматум этот решили вручить Дзюбе для передачи Черчиллю. Если тот откажется передавать, сославшись на то, что нынче в огороде дел много, а баба беременна, тогда Чернолюбов предложил вырвать из челюстей всех товарищей золотые фиксы

и подкупить шоферюгу Пашку. Тот бросит конверт в ящик, и останется только ждать, когда палата общин вцепится в глотку палаты лордов. И все дела.

И еще Чернолюбову всю дорогу было интересно, как это я так метко и неожиданным поворотом на сто восемьдесят градусов поражаю обушком крыс.

– Как вам это, Йорк, удастся?

Я говорю, что мне это удастся потому, что я смотрю не вперед, как некоторые, а назад и хорошо вижу в абсолютной темноте.

– Английские товарищи могут вами гордиться, Йорк!

Тут я, Коля, немного пошухерил. Без шуток Фан Фаныч будет лежать исключительно в сырой земле, в деревянной дубленке и в последних шлепанцах, а пока жив Фан Фаныч, он, несмотря ни на какие удары рока, намерен восхищать свою бедную и несчастную душу волшебным смехом!

Я что сделал? Нацарапал острым камушком на породе слова, сдул крошки, с понтом этим словам лет сто, и говорю коллегам по каторге:

– Обнаружена надпись на камне. Необходимо ее разобрать. Кто сможет?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.